

10.997к 7

Владимир БЕЛЯЕВ



# ЗАСТАВА НАД БУГОМ

ОБЛГИЗ \* ИВАНОВО  
1949



ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ

ЗАСТАВА  
НАД БУГОМ

Б Ы Л Ь

х. 10907.

94

ОГИЗ  
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1949

5-2010

АКАДЕМИЯ  
НАУК СССР



1951

19



## 1. НАКАНУНЕ

Около полуночи 20 июня 1941 года пограничники Давыдов и Зикин, проходя вдоль Западного Буга, услышали на другом берегу гул моторов. Осторожно продираясь сквозь кусты, они сперва не обратили особого внимания на этот зарубежный шум. Когда же гул усилился и соединился с другими подобными же звуками, наряд замедлил движение.

За Бугом ревели танки. Их тяжелый, надрывный гул заглушал пение соловьев под Черным лесом. Видимо, съезжая с платформ и разворачиваясь около железнодорожного полотна, танки скрежетали гусеницами. Их моторы ворчали при переключении скоростей. То и дело фары танков бросали тоненькие лучики света в нашу сторону.

— Опять маневры? — спросил у Давыдова Зикин. — Не дает им Гитлер покоя даже ночью!

Был он простодушен и доверчив, этот рядовой боец заставы в Скоморохах. Товарищи по службе подтрунивали над Зикиным, называя его по местному „господарем“. Не раз весной, после нарядов, Зикин уходил в Скоморохи и помогал по хозяйству одному из местных хлеборобов. Он уезжал с ним в поле и там, сняв гимнастерку и разувшись, шел за плугом, уминая босыми ногами влажную, крепко пахнущую весеннюю землю. Пограничники подсмеивались, что все это делается неспроста. „Дело вовсе не в том, что Зикин истосковался по работе на земле, а всему виною, — говорили они, — красивая дочка господаря“. Не раз в заставе поговаривали, что осенью, после демобилизации, Зикин женится на ней и останется „господаривать“ в Скоморохах.

...Танки в польском Забужье ревели все сильнее. Давыдов ничего не ответил на шопот Зикина. Прислушиваясь к звукам, долетающим из-за рубежа, он решил

немедленно после возвращения из наряда доложить о них начальнику заставы лейтенанту Алексею Лопатину, хотя ему и казалось, что ничего особенно нового и сверхъестественного в этом шуме не было.

Уже начиная с апреля 1941 года немцы подтягивали к советской границе свои войска. С половины июня люди советского пограничья даже днем слышали отдаленную канонаду немецких тяжелых орудий. Все это немцы называли „маневрами“. В сообщениях германского информационного бюро говорилось, что, предохраняя части имперской армии от нападений английской авиации, а также желая дать им спокойный отдых после французской кампании, „командование отводит войска в отдаленные районы Восточной Польши“.

Однако ночью 20 июня 1941 года рев танковых моторов в Забужье был особенно сильным.

Но ни старший наряда Давыдов, в прошлом учитель, ни его спутник Зикин, ни даже начальник пограничной заставы в Скоморохах Алексей Лопатин не могли тогда знать того, что стало известно позже.

Ночью 20 июня 1941 года в лесах Забужья, севернее Сокаля, разгружалась 11 танковая дивизия немцев, только что прибывшая к советской границе из Вены на пополнение танковой армии фон-Клейста.

Одиннадцатой танковой дивизией командовал назначенный на этот пост незадолго до ее передислокации генерал-майор Крювель. Ранее, в „польскую кампанию“ он был генерал-квартирмейстером. Весь путь из австрийской столицы до Черного леса на левом берегу Буга, севернее Сокаля, 11 танковая дивизия совершила за двое суток. По дороге из Вены в вагонах эшелонов, перевозивших дивизию, среди офицеров и низших чинов распространяли слух, видимо, пущенный кем-то из командования с целью дезинформации. Смысл этого слуха был таков: „Дивизия предназначена для похода в Индию. СССР разрешил германскому правительству перебросить свои войска транзитом по советской территории для того, чтобы они могли вторгнуться в индийские владения англичан по суше“.

Очевидная нелепость этого усиленно распространяемого слуха стала ясна, как только 11 дивизия начала скрытно располагаться в лесу, неподалеку от границы.



В ту же самую ночь, с 20 на 21 июня, едва только первые немецкие танки начали сползать на забужскую землю, генерал-майор Крювель приказал послать к мосту через Буг у Сокаля офицерскую разведку из приданного его дивизии 209 саперного батальона.

Лейтенант Людвиг Дитц — смуглый, очкастый немец из Бамберга, в прошлом инженер-строитель, и командир саперного взвода лейтенант Вилли Андреас из Бюртемберга, в сопровождении двух саперов, поехали к мосту, ведущему в Сокаль, выполнять приказание генерал-майора Крювеля.

Немецкая пограничная охрана была уже предупреждена о приезде офицерской разведки. Когда Людвиг Дитц слезал со штабной машины, к нему подошел немецкий офицер Герман Радецкий с зелеными пограничными петлицами, отрекомендовался и посоветовал быть как можно осторожнее.

— У этих русских дьявольский слух. Будьте крайне внимательны. Не шумите! — предупредил Радецкий.

Измеряя крепления старого деревянного моста, выясняя со своими саперами, какой тоннаж мост может выдержать, лейтенант Дитц старался действовать как можно тише.

Той же ночью, когда лейтенант Людвиг Дитц бродил у Сокальского моста по немецкой половине реки Буг, на всем протяжении границы, к ранее сосредоточенным здесь войскам немцев подходили новые дивизии. Двигались они скрытно, с наступлением рассвета прятались в селах, силились производить как можно меньше шума, но от местного польского населения, жившего поблизости Буга, Солокии и Сана, не укрылось, что артиллерийские орудия, которые выкатывались на позиции и укреплялись в порядке „учебных маневров“, почему-то все были обращены стволами в сторону Советского Союза.

\* \*  
\*

Под вечер 21 июня в тринадцатую заставу из Владимир-Волынского вернулась с учебного сбора группа пограничников.

Приезжие занимали снова свои койки, укладывали около них вещевые мешки, ставили в пирамиду новенькие автоматы ППД, только что полученные ими в от-

ряде. С обеда во дворе заставы топилась баня. И, как всегда по субботам, люди, возвращающиеся из нарядов, получали у старшины чистое белье, мыло и торопились в легкий зной предбанника, откуда слышалось шипение пара, где быстро вянули заготовленные дневальными свежие березовые веники.

Разгоряченные, с лицами цвета спелой малины пограничники перебежали из бани в заставу, и там их встречали звуки баяна. Многие уже успели отвыкнуть от этих звуков, пока Максяков был в столице древней Волыни. А сейчас он снова сидел на табурете в ленинской комнате, высокий, черноволосый, и, мечтательно устремив взгляд в одну точку, подбирал на баяне песенку „Синий платочек“.

Максяков знал, что люди заставы его дожидались, соскучились по его музыке, и сейчас был поистине счастлив.

— Здравствуй, Максяков! — протискался к баянисту полный и краснощекий Косарев. На его широком лбу еще блестели капельки пота.

Максяков покровительственно кивнул Косареву головой и, зажмурив глаза, продолжал ловить упорно ускользящую мелодию песенки о синем платочке. Неповоротливый и медлительный Косарев потоптался около музыканта, зевнул (он не отоспался еще после ночного дежурства) и попросил:

— Сыграл бы лучше „Сербияночку“, Максяков. Так давно не слышали. А то больно тоскливое что-то играешь!

Захваченный новой мелодией, которая так трудно ему давалась, Максяков отрезал:

— Я-то сыграю, а вот ты станцуешь?

Вокруг засмеялись. Все хорошо знали, что Косарев — один из самых отстающих бойцов — не то что плясать не умеет, но даже самую простую „скобку“ на турнике не может сделать. В политзанятиях Косареву тоже не особенно везло. Часто он не мог ответить на заданный ему вопрос. И, если политрук Павел Гласов от удивления разводил руками, тот немедленно пускал в обращение свой довод: „Ничего, ничего, не смейтесь над Косаревым... Придет время на деле доказать, каков я — от вас не отстану“. Сейчас же, не зная, что ответить Максякову, Косарев помахал молча на виду у всех мокрым полотенцем, как бы намекая, что его следует просушить, и потихоньку улизнул из комнаты отдыха.



Евдокия Гласова — жена политрука, полная, среднего роста, голубоглазая блондинка, в этот вечер запоздала в баню. Ей удалось помыться лишь после полуночи. Обвязав вафельным полотенцем мокрые волосы, она быстро пробежала в шлепанцах по росистой траве до своей квартиры и уложила спать дочку Любу.

Люба заснула сразу же, и Гласова вышла на крыльцо командирского домика.

От Буга тянуло прохладой. В кустах ивняка над самой рекой, там, где залегли сейчас пограничные секреты, щелкали и колотили на разные голоса соловьи.

Из села Скоморохи доносились звуки мандолины. Потом вступила гитара. „Должно быть у Захара Пеньковского“, — подумала Гласова. Она знала, что к нему часто заходят пограничники поиграть на гитаре и мандолине и что Захар — представитель многочисленной фамилии Пеньковских, живущих в Скоморохах и окрестных селах, — не только радушно принимает гостей, но и сам учится от них новым, советским песням.

Кое-где в Скоморохах и в соседнем селе Ильковичи, расположенном слева от Карбовского луга, в хатах светились огоньки. Сегодня весь день колхозники этих сел везли из леса дерево для новых колхозных построек, которым предстояло вырасти на бывших землях графа Дзедушицкого, переданных крестьянам советской властью. Возчики, в сумерках уже вернувшиеся в свои села, сейчас готовились ко сну.

Ярко светившиеся окна заставы слепили глаза Гласовой, и она ничего не могла разглядеть дальше десяти-пятнадцати метров. Но если бы вдруг погасли огни заставы, а жена политрука могла различать далеко в темноте, то, возможно, тогда Гласова увидела бы очень редкую церемонию одностороннего снятия границы.

Там, за Бугом, в полукилометре от заставы Скоморох, по всем правилам немецкого педантизма, министерство внутренних дел германской империи передавало границу „государственных интересов райха“

вермахту<sup>1</sup> и его главному армейскому командованию. Министр Фрик сдавал границу главнокомандующему всеми вооруженными силами Германии фельдмаршалу фон-Браухичу.

На всем протяжении границы в ту ночь немецкие пограничники в последний раз проходили пограничными тропами над Бугом вместе с германскими офицерами — представителями оперативных отделов „1-а“ армейских батальонов, вместе с писарями, адъютантами командиров частей, подошедших скрытно и явно к самой линии границы.

После того, как акты передачи границы вермахту были подписаны и скреплены печатями, немецкие пограничники и таможенники, погрузив особые пограничные часы на машины, покинули свои посты, дежурные помещения и уехали вглубь Польши, подальше от берегов Западного Буга, придавленных тяжестью расчехленных гаубиц, минометов и других орудий, повернувших стволы на восток.

В лесах, на просеках, в лощинах и просто на открытых полях от Перемышля до Устилуга и тут — на стыке Галиции с зеленой Волинью — 21 июня, с наступлением темноты, а кое-где и раньше, был прочитан приказ Гитлера о том, что германская армия в 3.00 по летнему европейскому времени должна перейти границу и ударить по Красной Армии.

Командир 456 пехотного полка, имевшего целью захват местечка Высоцке, оберст-лейтенант Гетц выстроил свой полк по-батальонно в 18.00 21 июня в двух километрах западнее Ярослава и, истолковывая солдатам приказ Гитлера, говорил, что „Россия не выполняет условий договора с Германией“, что она якобы „заключила союз с Англией“, что большевики „угрожают наброситься на Германию“.

Все эти доводы были столь же смешны и нелепы, как и предшествующий им слух о „походе в Индию через СССР“. Но, приученные безотговорочно верить офицерам, отборные солдаты первой линии удара, приняв эти рассказы за истину, готовились „к прыжку через Сан“. В этот день возле Устилуга, в направлении на Владимир-Волинский, в лесу и в прибрежных

<sup>1</sup> Вермахт — вооруженные силы Германии.



кустах застучали топоры немецких саперов. Немцы готовили паромы, наспех ремонтировали лодки, забанныер у польских крестьян. С помощью этих средств и надувных лодок германское командование намеревалось быстро перебросить на советский берег Западного Буга свыше трех корпусов войск, а также приданные им специальные части первого удара, имевшие целью двигаться дальше на Владимир-Волынский, Луцк, Дубно, Киев.

\* \*  
\*

То, чего никак не могла увидеть сквозь густую темень июньской ночи Евдокия Гласова, подсознательно чувствовал ее земляк-ивановец, боец тринадцатой заставы Николай Сорокин, бывший слесарь ткацкой фабрики № 2 „Красный Профинтерн“, сын старого рабочего из Вичуги.

Как и все бывалые пограничники, Николай Сорокин обладал исключительно хорошим слухом и наблюдательностью.

Уходя по ночам в наряд, Сорокин тоже слышал и ворчание немецких танков, и отдаленную канонаду проверяемых гитлеровцами тяжелых орудий, и, наконец, участвовавший стук топоров в Черном лесу, где немецкие саперы готовили паромы.

В памяти Сорокина запечатлелся густой, хвостатый след, оставленный высоко-высоко в чистом небе самолетом „Фокке-Вульф“. На глазах у всех этот немецкий разведчик пролетел в пятницу над советской границей, временами удаляясь к Тартакову и к Каменке-Струмиловой, и, должно быть, фотографируя все то, что его интересовало. Следя за полетом „Фоки“, Николай Сорокин сказал своему товарищу по заставе Никитину:

— Ну, быть войне!..

\* \*  
\*

Сейчас, когда Евдокия Гласова вошла в помещение заставы, Николай Сорокин, вешая себе на грудь новенький автомат, сказал ей:

— С легким паром!

Собираясь в наряд, он снял с пирамиды ракетницу.

Гласова хорошо запомнила, что перед тем, как перешагнуть порог и исчезнуть во тьме, Сорокин сказал ее мужу:

— Ох, и не хочется мне нынче к границе итти! Так сердце и ноет. Вот, товарищ политрук, никогда ни от какого задания не отказывался, а сегодня муторно на душе!

И что было особенно странно — при этом Сорокин улыбался. Его большое, смуглое лицо с глубокими глазами и раскрыльями черных изогнутых бровей светилось доброй улыбкой. Младший лейтенант Гласов, оборвав на минуту беседу с бойцами, поглядел на Сорокина и тоже улыбнулся, видимо, не придавая особого значения словам своего земляка. Да и как он мог поступить иначе? О человеке и бойце судят не по его минутным колебаниям, а по тому, как он справляется со своими заданиями. Ведь сам же Павел Гласов, приезжая в прошлом году в отпуск на родину, сказал отцу Сорокина — Ивану Ивановичу, потомственному пролетарию Вичуги, что сын его Николай „хорошо несет службу и зорко стережет советскую государственную границу“.

Правда, политрук Гласов не рассказывал Ивану Ивановичу, где именно проходит эта граница, в каком селе расположена их застава, но и одних этих слов было достаточно для того, чтобы старик Сорокин искренно обрадовался. Он пригласил начальника своего сына к столу, долго беседовал с ним, расспрашивал, сколько же верст от Вичуги до Западного Буга и потом не раз рассказывал соседям, что в „пограничные части, как сообщил ему политрук Гласов (уроженец деревни Филисово, лежащей близ Вичуги), отбирают самую лучшую, самую выносливую и надежную советскую молодежь“. Прощаясь с Гласовым, Иван Иванович просил передать сыну, чтобы тот прислал свою фотографию.

Вскоре после приезда Гласова из отпуска, Николай Сорокин получил увольнительную и сходил в Сокаль. Он снялся там у лучшего фотографа — подтянутый, опытный, в новенькой выходной гимнастерке, в портупее, одоженной у товарищей, в только что полученной буденовке, со значком „Готов к труду и обороне“ на груди. Правда, на его петлицах еще не было угольников, но старшина Клещенко, поглядев на фотографию, поощрительно сказал:



— Будь я командиром заставы, за одну такую заправочку сразу бы назначил тебя командиром отделения.

Старшина заставы Клещенко не грешил против истины. Во всем внешнем облике Николая Сорокина, в том, как спокойно, непринужденно держал он себя перед объективом фотографа, в его внимательном и умном взгляде, уже проглядывали черты будущего командира, требовательного к себе и подчиненным.

\* \*  
\*

После того, как Сорокин ушел в наряд, Евдокия Гласова села на скамеечке, прислушиваясь к беседе мужа с бойцами. Она исподволь следила за каждым его движением, за его вздрагивающими густыми бровями, и с удовольствием слушала его ровный и спокойный голос.

Беседа затягивалась, а был уже второй час ночи. Бойцы, окружавшие политрука, еще не спали после наряда и нет-нет да и позевывали, хотя каждому хотелось послушать веселого и общительного Гласова.

— Павлуша, светать скоро будет! Дай людям отдохнуть! — шепнула Гласова.

Услышав ее голос, политрук, разминаясь, поднялся с места и сказал:

— Максяков, возьмите у старшины ведомость и составьте список личного состава. Комендатура требует!

— Есть, составить список личного состава! — повторил Максяков и, уже менее официальным тоном, добавил: — Нынче день отдыха, я и напишу на досуге после обеда!

— Спокойной ночи, товарищи! — сказал Гласов, поглядывая на часы.

Стрелка приближалась к двум.

Ночь была на исходе.

— Хлопотун ты, Павлуша, — сказала Гласова, когда они проходили двором к командирскому домику, — человек с учебы приехал, отдохнуть еще не успел, а ты его опять списками загружаешь. Уж лучше бы он сыграл нам, по случаю воскресенья, а мы б потанцевали на лугу.

— А что я могу сделать, если ни у кого нет такого почерка, как у Максякова? А сыграть он вам еще

успеет! — так же полушутя примирительным тоном ответил Гласов.

...Люба крепко спала, разметав по подушке золотистые, как у матери, волосы. Рот ее был полуоткрыт.

Евдокия вскипятила на примусе кофе. Гласовы выпили по чашке кофе с белым хлебом и легли спать неподалеку от кровати дочери.

Черный, усатый кот, играющий с мышью на атласном коврикe над кроватью, сразу расплылся в темноте, как только Павел Гласов погасил лампу.

## 2. ПАМЯТНЫЙ РАССВЕТ

„Воспользовавшись тем, что советские войска не были подведены к границам, немцы, не объявляя войны, воровским образом напали на наши пограничные части, и в первый день войны хваленые немецкие войска воевали против наших пограничников, не имевших ни танков, ни артиллерии“.

(Из вечернего сообщения Советского Информбюро 29 июня 1941 года.)

Разбуженная треском рвущихся невдалеке снарядов, Гласова увидела, что она одна.

Политрук после первого же выстрела помчался на заставу.

„Что это? Маневры? А, может, в подвале заставы взорвались боеприпасы?“ — подумала Евдокия.

Падали на пол, разбиваясь на мелкие кусочки, оконные стекла. Сиреневый рассвет вползал в комнату вместе с кислым запахом пороховой гари.

Плакала, протирая кулачками заспаннные глаза, Люба. За стеной, у Лопатиных, слышался надрывный голос жены начальника заставы Анфисы:

— Ленья!.. Милый! Куда же?..

Они выбежали почти одновременно из командирского домика: Гласова с Любой и Анфиса Лопатина вместе с детьми и матерью мужа.

Пробегая по двору к дому заставы, Евдокия вспомнила полные тревожного предчувствия слова Николая Сорокина. Вспомнила эти слова еще и потому, что увидела высоко в небе, там, на берегу Буга, на линии



границы, ставшей отныне линией фронта Великой Отечественной войны, красные сигнальные ракеты. Николай Сорокин пускал их одну за другой до последнего своего дыхания. Он давал знать родной заставе о продвижении врага...

Рядом с Евдокией к зданию заставы бежала полудетая Анфиса Лопатина, прижимая к груди месячного сына Толю. В свете наступающего утра и при вспышках разрывающихся снарядов Гласова видела, как, наклонив над малышом лицо, Анфиса силилась успокоить плачущего ребенка:

— Тише, тише! Мы ж к папе идем!

Около бабушки, спотыкаясь и посапывая, молча переваливался трехлетний Славик Лопатин. Его ноги разъезжались по росистой траве, но он старался не отставать от старших.

\* \* \*

Дальше всех от заставы, на частной квартире в селе Скоморохи, жила семья заместителя Лопатина — лейтенанта Погорелова. После первых же выстрелов лейтенант Григорий Погорелов — высокий, широкоплечий украинец из-под Кременчуга, вместе с группой бойцов, помчался на правый фланг участка, к месту около Ромуша. Там был наиболее ответственный объект охраны: мост через Буг.

Убегая к Ромушу, лейтенант Погорелов успел только крикнуть бойцу Никитину:

— Помоги моей семье!

Никитин нашел Евдокию Погорелову с дочкой Светланой у входа в крестьянский подвал.

— Пойдем со мной, Дуся! Схоронишься на заставе! — сказал Никитин и принял из ее рук завернутую в одеяло дрожащую от испуга Светлану.

Погорелова ничего с собой из дому не взяла, только набросила на плечо автомат мужа.

Пробегая при нарастающем гуле немецких самолетов мимо церкви, мимо деревянного креста в память жертв Талергофа с выжженной надписью „Мученикам за Русь“, — Никитин, статный и удивительно спокойный боец-волжанин, напомнил Погореловой:

— А помнишь, как в пятницу самолет дым пускал над заставой? Сорокин еще сказал тогда, что не зря

он кружится здесь. Снимки, значит, к сегодняшнему утру делал!

Как быстро все-таки Никитин освоился с мыслью, что еще в пятницу был мир, а сегодня, в воскресенье, — военное время!

\* \* \*

Одна за другой семьи пограничников прибежали в здание заставы. Там они нашли только дежурного Зикина. Все остальные бойцы уже заняли круговую оборону. Зикин сразу направил женщин и детей в самый дальний блокгауз, расположенный в конце двора, позади хозяйственных построек.

— Вот умеешь ты по тревоге одеваться, Дуся. А я все бросила! — неожиданно нарушила молчание Погорелова.

— Ты еще одета ничего, а посмотри на Анфису — та совсем как на купанье выбралась: в лифчике да в трусах! — ответила Гласова.

— Ничего, детей устроим, сбегая домой за вещами! — откликнулась жена начальника заставы.

Она и впрямь скоро ушла, оставив на коленях у бабушки плачущего Толю. Славик пристроился под сыровой стенкой блокгауза. Каких-нибудь пять минут не было Анфисы, но все это время женщины, сидящие в блокгаузе, думали о том, как пробирается она к своей квартире.

Совсем близко разорвался тяжелый снаряд. Струйки сухой земли из наката потекли женщинам на волосы. В эту минуту в блокгауз ворвалась бледная Анфиса. В руках она держала серое одеяло и две подушки.

— А платье где? Почему платье не взяла? — спросила Погорелова.

— Какое там платье! Я хотела постель сперва увязать, а тут ка-ак ахнет! Вазоны с окна сошвырнуло. И блеск такой! Баня наша уже горит, и вышку наблюдательную возле Ромуша немцы подожгли. А бойцы лошадей и коров выпускают, чтобы не задохлись в дыму.

Сообщив эти печальные новости, Анфиса, тяжело дыша, уселась рядом с сыном под стенкой.

— Бедняга Потягайлов! — сказала Гласова. — Он сегодня с бойцом из маневренной группы на ту вышку пошел дежурить...



Недолго просидели женщины в дальнем блокгаузе. Прямым попаданием фугасного снаряда разметало настил, и женщины увидели над своими головами вместе с клочком голубоватого неба дым пожаров. Совсем рядом ревели коровы. Мычание их сливалось с гулом самолетов. Свои или чужие — женщины этого не знали. Самолеты проносились низко над заставой.

В ходе сообщения показался Алексей Лопатин. Как и всегда, начальник заставы был подтянут. Блестящая портупья плотно облегла его летнюю гимнастерку. Высокий, русоволосый, он только слегка против обычного побледнел.

— Разворотило? — сказал Лопатин, оглядывая пробоину в накате. — А ну, женщины, перебирайтесь, пока подмога придет, в подвал. Там надежнее!

Повинуясь приказу начальника, семьи командиров покинули блокгауз. Погорелова спросила Лопатина:

— А Григорий мой где?

— Я послал его с людьми к мосту...

Вдали над Бугом пылала подоженная немецкими зажигательными снарядами наблюдательная вышка. Косматые языки пламени метались над ней. Страшно было смотреть на этот дымный факел. Еще страшнее было сознавать, что на этих сосновых бревнах, в маленькой деревянной клетушке погибает в огне и дыму Потягайлов, веселый, разбитной пограничник.

Они расположились в полутемном подвале под надежными кирпичными сводами, рядом с кучами поросшего картофеля, сохраняющего еще запахи прошлой осени. Поодаль стояли влажные бочки с капустой и квашеными огурцами.

Гласова исчезла на несколько минут и притащила сверху какой-то матрац.

— Правильно, Дуся! — неожиданно услышала она голос мужа.

Политрук Гласов сбежал по ступенькам в подвал, огляделся в полутьме и сказал:

— Давайте и вы, женщины, тащите сюда вниз все постели и матрацы. Если будут раненые, мы их здесь расположим. Держи, Дуся, — сказал политрук, протягивая жене какие-то свертки. — Здесь масло и сахар. А

это — будильник. Я забежал домой... И ключ возьми от квартиры. Не потеряй, смотри...

Гулкий разрыв снаряда потряс весь дом до основания.

— Ключ уже не нужен, политрук, — сказала, отходя от окошка, Погорелова. — Нема вже вашей хаты. Разбило снарядом!

— А ты, Анфиса, даже одеться не успела!

— Какая тут одежда! — равнодушно ответила Лопатина и, прислушавшись, вдруг вскрикнула: — Тише! Вы слышите?

В двух углах двора, в блокгаузах, соединенных со зданием ходами сообщения, затрещали станковые пулеметы.

— Неужели немцы?.. — прошептала Гласова, приседая около бочки с огурцами.

Ей никто не ответил. Сидя под прочными сводами подвала, женщины и дети вслушивались в звуки первого утра войны, но больше всего привлекла их внимание такая близкая скороговорка пулеметов.

\* \*  
\*

Да, это были немцы!

Серые в расплзающемся тумане, они показались с двух направлений со стороны Буга: от Илькович и с правого фланга, перерезая последние нити, связывавшие раньше заставу со своими соседями.

Сперва немцы шли во весь рост, держа наперевес автоматы. Крестьянские гуси, пасшиеся на Карбовском лугу, с гоготаньем убегали от шагающих немцев и проваливались в овраге Млынарки. Эта маленькая речушка — приток Западного Буга, огибающая высокий холм, на котором краснело здание заставы, — была последним препятствием на пути немцев, идущих развернутым строем к холму.

Раньше всех открыл огонь из правого блокгауза заместитель политрука ленинградец Галченков. Рядом с ним лежал у пулемета в тот памятный рассвет москвич Герасимов. Как только первые немцы, извиваясь, сбиваясь с шага, стали падать на мокрый луг, заговорил и станковый пулемет из левого блокгауза, расположенного ближе к Скоморохам. Там у „Максима“ залегли старые, проверенные уже однажды в бою, неразлучные



друзья — ефрейторы Конкин и Песков. Еще совсем недавно вся застава с большими почестями отправляла в Москву, в Кремль, низенького, энергичного блондина Конкина. С ним вместе ехал в столицу за правительственной наградой опытный учитель служебных собак, уроженец Ивановской области, ефрейтор Песков. Медали „За боевые заслуги“ поблескивали сейчас в полутьме блокгауза на гимнастерках боевых друзей.

\* \*  
\*

Как только первые цепи немцев устали своими трупами луг, шедшие позади гитлеровцы в замешательстве побежали обратно к спасительной полоске утреннего тумана. Фланговый огонь двух станковых пулеметов показал немецким офицерам, что взять заставу в лоб не удастся. Они решили оставить ее для подавления идущим сзади них главным силам.

Ветер принес трескотню пулеметов от железнодорожного моста за Ромушем. Туда пошел Погорелов. Что же произошло с ним?

Ракеты не взлетали из кустов, откуда еще так недавно звал к себе на помощь Николай Сорокин. Все кусты, закрывающие Западный Буг от гарнизона заставы, укрепившегося на холме, были теперь в руках немцев.

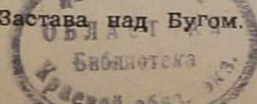
..Все еще крутил ручку полевого телефона Зикин, но никто ему не отвечал. Провода, ранее соединявшие заставу в Скоморохах с соседними заставами и с комендатурой, были либо перерезаны, либо перебиты снарядами.

Воспользовавшись тем, что немцы повернули обратно, Лопатин позвал к себе Василия Перепечкина. Это был смысленный боец и хороший конник.

— Скачи в Сокаль, найди Бершадского. Пусть шлет подкрепление! — приказал Лопатин.

Капитан Иван Варфоломеевич Бершадский был комендантом участка, и лейтенант Лопатин несколько не сомневался в том, что Бершадский, хорошо зная, на каком важном направлении расположена тринадцатая застава, вышлет к ней бойцов из резерва.

Перепечкин поймал бродившую по двору и оседланную еще с ночи караковую кобылу, сходу вскочил на нее и умчался ложиной на Ильковичи. Все, кто следил



за его быстрым отъездом, даже женщины, засевшие в подвале, были убеждены, что теперь-то подмога придет.

Ни Лопатин, ни весь подчиненный ему гарнизон не знали еще, что Сокаль очутился в полосе направления одного из главных ударов немцев. Направление это в первой сводке Главного командования Красной Армии было названо „Крыстинопольским“.

За Ильковичами глухо била артиллерия. Может быть, это ввязались в бой регулярные части Красной Армии?..

... В это время лейтенант Григорий Погорелов вместе со своей группой пробирался крепостными рвами древнего князьего города Прилуки к железнодорожному мосту у Ромуша. Рвы вывели пограничников в густой кустарник на мысе Шибеница. Когда лозняк кончился, Погорелов увидел около моста, на гребне железно-орожной насыпи рогатые каски немцев. Лежа у пулемета, немцы вели огонь по отделению, охранявшему мост.

Сейчас весь мост, повидимому, уже был в руках у немцев, а его охрана, сброшенная с моста в сторону, была оттеснена немцами. Под прикрытием станкового пулемета, ведущего огонь с насыпи, немцы подползали к стрелкам отделения, прижимали их к лесу.

Не напрасно послал сюда лейтенанта Погорелова его начальник Алексей Лопатин. Мало того, что здесь был стык двух участков. Ведь по мосту немцы могли в любой момент начать переброску своих главных сил, следующих за передовыми отрядами.

Пробегая по луку, перескакивая через канавы, вспотевший от быстрого бега, лейтенант-кремечужец Погорелов надеялся, что возле моста ему удастся соединиться с бойцами соседней, двенадцатой заставы. Он прикидывал в уме, как все вместе они организуют оборону.

Когда группа пограничников приблизилась к цели, сердце Погорелова дрогнуло. На околице села Большие Джары, где раньше стояло здание заставы, подымался столб дыма. Остатки здания, разбитого в первые же минуты войны прямым попаданием зажигательных и фугасных снарядов, догорали. Под развалинами была погребена большая часть гарнизона заставы.



\* \* \*

В то первое утро войны лейтенант Григорий Погорелов не знал известное автору этих строк последнее донесение из соседней двенадцатой заставы. Начальник двенадцатой Лукьянов передал его в 4 часа 12 минут в комендатуру по телефону:

„Сейчас немцы снова пытались переправиться через Буг. Огнем пулеметов, стрелков, снайперов заставил немцев отойти от Буга. Товарищ младший политрук! Снаряд попал прямо в мою квартиру... Там жена и только что родившийся ребенок...“

\* \* \*

При виде догорающей соседней заставы лейтенант Погорелов понял, что теперь он может рассчитывать только на свои силы. Ему стало ясно, что весь участок до села Большие Жары был оголен. Возможно, только кое-где, застигнутые войной у берега, оставались дежурные наряды.

Таким образом, тринадцатая застава получила новую, дополнительную линию границы для охраны.

И самым уязвимым местом этой линии был железнодорожный мост...

Подобравшись к мосту, Погорелов поднял своих людей в атаку.

Немцы не ожидали нападения со стороны берега, который они считали очищенным. Увлеченные стрельбой, немецкие пулеметчики схватились, когда было уже поздно...

Добивая гитлеровцев из автоматов, пограничники сбросили их с насыпи, и Погорелов сразу залег у тяжелого немецкого пулемета, поворотив его ствол в сторону моста.

— Ложись, подавай! — крикнул он бойцу Давыдову, и тут же заметил, что лицо у того залито кровью. Утирая рукавом гимнастерки кровь, Давыдов протянул лейтенанту пулеметную ленту.

На противоположной стороне моста слышался конский топот. Расчищая дорогу главным силам, артиллерии и обозам,двигающимся на Порецк и Владимир-Волынский, по мосту на рысях мчался полуэскадрон гитлеровцев.

Погорелов поймал в прорезь прицела голову офицерской лошади и нажал гашетку. Первая лошадь грузно споткнулась на досках моста...

\* \*  
\* \*

Приблизительно в то же самое время во двор тринадцатой заставы со стороны скомороховского кладбища влетел на коне Василий Перепечкин. Был он взволнован и бледен.

Забыв, что немцы нет-нет да и ведут огонь по зданию из пулеметов со стороны Буга, Алексей Лопатин выскочил навстречу всаднику.

— Пробился? — крикнул начальник.

— В Ильковичах немцы! — спрыгивая с коня, доложил Перепечкин. От быстрой скачки волосы его были растрепаны и припорошены пылью.

— Чего ж не ехал через Стенятин?

— Там мотоциклисты ихние мчались шляхом мне наперерез. Я взял левее, чтобы вырваться на Сокаль по Тартаковскому шоссе, и там...

— Что там? — перебил его Лопатин.

— По шоссе из Сокаля на Тартаков идут танки. С крестами. Большой ДОТ, что под Равщиной, огонь по ним ведет. Я видел, как снаряды разрывались на броне. Вот слышите? — И, опуская повод, показал рукой на юг.

Там слышался густой рокот танков, то и дело заглушаемый залпами пушек.

По шоссе на Тартаков мчались без остановки проскочившие Сокаль танки одиннадцатой танковой дивизии.

Впереди походной колонны этих грязнозеленых машин, в составе саперной разведки, ехал очкастый лейтенант Людвиг Дитц, который еще вчера ночью воровато ощупывал крепление моста, ведущего из Забужья в Сокаль. От снаряда противотанковой пушки, ведшей огонь из бетонного ДОТ'а слева от дороги, загорелся танк впереди машины, которая везла Дитца. Водитель подбитого танка, весь в пламени, вырвался из люка и, спрыгнув на землю, стал кататься по ячменю, стараясь погасить пламя. Остальные машины пытались проскочить мимо пылающего танка...



Ближе к вечеру, огородами да лугами, на заставу со стороны Скоморох пробился Давыдов из группы Погорелова. На щеке у Давыдова темнела рваная рана. К тому же он был еще ранен в ногу и прихрамывал, морщась от боли.

Дежурный сразу направил Давыдова в подвал к женщинам. Не успел он сойти туда, как к нему прибежал Лопатин.

— Рассказывай... Где Погорелов? — крикнул начальник заставы.

Однако Давыдов уже различил внизу глаза Погореловой, жадно ждущей ответа на этот вопрос. Рядом с ней стояла маленькая Светлана — дочь Погорелова.

Давыдов с трудом перевел свой взгляд на лейтенанта Лопатина и сказал шепелявя:

— Лейтенант Погорелов остался... у моста... я расскажу всю обстановку... Как бы сначала перевязаться?

— Пойдем наверх, — предложил Лопатин, — там светлее перевязывать. Дай-ка парочку индивидуальных пакетов, Анфиса!

Как только они остались вдвоем в просторной ленинской комнате с выбитыми окнами, Давыдов тихо сказал:

— Нет Погорелова. Он погиб и все остальные тоже...

И, выплевывая время от времени сгустки крови, Давыдов рассказал, что Погорелов со своей группой больше получаса держал под огнем мост через Буг, не давая немцам возможности переправиться. Трупы тридцати немецких кавалеристов вместе с лошадьми остались на мосту, преграждая путь едущим сзади. Погорелов приказал Давыдову отползть на заставу за подмогой. Уже из кустов, прикрывающих местность, называемую „Шибеницей“, Давыдов увидел, как немцы, переплывшие Буг севернее, напротив развалин двенадцатой заставы, со всех сторон окружили группу Погорелова и подавили ее сопротивление. Давыдов видел, как гитлеровцы штыками прикалывали раненых. Он слышал крик Погорелова: „Гранатами их, хлопцы!“ И на этом крике все оборвалось...

— Погореловой покуда ничего не говорить. Политрук ее подготовит постепенно, — сказал Лопатин.

Давыдов понимающе кивнул головой.

### 3. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Почти весь луг перед заставой хорошо просматривался из маленькой щели подвального окошка.

Гласов прижался к пахнувшей глиной продолговатой щели. По лугу были разбросаны скрюченные серые трупы немцев. Гуси уже успокоились, повывезали из оврага, в котором протекала Млынарка, и важно разгуливали по мягкой муравке, косясь на мертвых гитлеровцев. Живые молчали. Они не хотели разделить судьбу убитых и, повидимому, обтекали заставу справа и слева, оставив лишь наблюдателей в кустах над рекой.

Политрук слышал треск мотоциклов возле Илькович, вплетающийся в орудейную канонаду, и понимал, что немецкие автоматчики объезжают заставу стороной по дороге, ведущей из Илькович на Бараньи Перетоки. Над Ильковичами поднимался черный столб дыма.

„Наверное, колхоз горит!“ — подумал Гласов.

Он не ошибся. Это догорали подоженные первыми же немецкими снарядами хозяйственные постройки колхоза в Ильковичах.

\* \* \*

За лугом, там, где кусты сплошной стеной заслоняли Буг, ничком лежал Николай Сорокин. Раненые бойцы Егоров и Сергеев, которые несли наряд на левом фланге, добравшись до заставы, рассказали, что оставили там его мертвым.

Все еще не верилось, что Сорокин убит. Многие ждали, что вот-вот покажется он во дворе, сжимая автомат, пусть раненый, но живой. Гласов вспомнил, что у него в бумажнике хранится фотография Сорокина. Он вытащил ее из пачки документов и снова увидел перед собою живого Сорокина, его молодые, пытливые глаза. Одной рукой Николай опирался на спинку стула, пальцы другой были сжаты в кулак. А позади лестница с колоннами и сводчатый потолок, выписанные с явным нарушением законов перспективы каким-то сокальским художником.

На карточке, подаренной Гласову, Сорокин написал: „Верьте мне, товарищ политрук, я оправдаю слова, которые Вы сказали моему отцу!“

„Да, он оправдал их“, — подумал Гласов, и в эту ми-



нугу ему представился домик № 44 на Кустарной улице Вичуги, и в нем старый Иван Иванович, разглядывающий, наверное, такую же карточку своего сына.

Теперь уже вся страна знает про войну. Все слушают радио. И Гласову представились не только Иван Иванович Сорокин, но и миллионы советских людей, с напряженным вниманием ждущие вестей именно отсюда, с границы, откуда она началась.

— Тихо, товарищ политрук? — услышал Гласов знакомый голос у себя за спиной. Обернулся — Давыдов. Забинтованный, он наклонился к щели, сляясь разглядеть из-за спины Гласова, что происходит во дворе.

— Да, притихли малость. Сторонкой пошли... А ты бы полежал на матраце, зачем раны бередишь?

— Да какое тут лежание, товарищ политрук, когда на сердце тошно. Он нас, слышите, обходит? Может, уже под Владимиром бои идут? Танки все прут и прут. Ребята с чердака смотрели, говорят — пыль столбом над всем Тартаковским шоссе...

\* \* \*

Сверх ожидания ночь прошла спокойно. Правда, она была не похожа на прежние мирные ночи. Вся в далеких и близких зарницах орудийных залпов, освещаемая пожарами разбитых селений, наполненная грохотом артиллерийской канонады и монотонным, завывающим гулом невидимых самолетов, пролетающих совсем низко, ночь эта надолго осталась в памяти у всех, кто защищал Волынскую и Галицкую земли от немцев в июне 1941 года.

Пограничники, залегшие с пулеметами у разбитых окон ленинской комнаты, и те, которых выслали Лопатин во двор в боевое охранение, до рассвета видели кровавобагровое небо на востоке, на западе, на юге. Зарево над Бугом рассказывало им, лишенным всякой связи со своими, что немцы, если и продвигаются, то совсем иначе, чем маршировали они в глубь Чехословакии, Польши, Франции, Бельгии, Голландии.

На древней Червонно-русской земле каждый шаг обходился им очень дорого. Стараясь прорваться проселочными дорогами, шоссе и перелесками — туда, на широкие оперативные просторы, куда вели стрелки,

начерченные на штабных картах, немцы истекали кровью.

Рано утром, еще солнце не поднялось над скомороховской церковью, малопроезжей проселочной дорогой, ведущей из Задворья в Скоморохи, мчалось несколько открытых грузовиков с немецкими солдатами. Это ехали резервные части гитлеровцев на подмогу своим войскам, задержанным ночью Красной Армией. Одни немцы сидели в грузовиках, держа на коленях черные автоматы и глядя на восток, другие, сняв тяжелые каски, не теряя времени, общипывали гусей.

Белые гусиные перышки, как лепестки облетающего яблоневого цвета, взвивались, вырываемые ветром из рук, и исчезали в клубах пыли.

...Первая, вторая, третья машины ныряют в лощину около Задворья. Вот-вот они обогнут одинокий каменный крест, вкопанный в землю на раздорожье под кудрявой вишенкой, и покажутся опять на виду у гарни- зона заставы.

— Не пропускать! Огонь!—приказывает Алексей Лопатин.

Оба станковых пулемета поворачивают свои рыльца к дороге. Заколебались надульники ручных пулеметов, выглядывавших из окон первого и второго этажей. И как только первая машина показалась из лощины, ее встретил дружный огонь заставы.

Шофер слышит относимые ветром в сторону близкие выстрелы. Немцы стучат ему в стенку кабины прикладами автоматов. Шофер понимает: самое главное спасение сейчас в скорости, и дает полный газ.

Одна, другая, третья машины проносятся по дороге, увозя в кузовах не живое пополнение для главных сил имперской армии, а мертвых и раненых. Уцелевшие немцы спрыгивают на ходу и отползают в пшеницу.

\* \*  
\*

Спустя полчаса рота полевой жандармерии, под командованием лейтенанта Бурбенкера, окружает село Скоморохи. Оцеплены и соседние хутора, куда было отселено из пограничной полосы мирное население еще в 1940 году. Немцы уверены, что машины обстреляны местными жителями. Никто из немецкого командования не



может предположить, что это подала признаки жизни молчавшая всю ночь пограничная застава. Никто из них не может придти к этой мысли еще и потому, что в штабах резервных частей, продвигающихся из Польши к советской границе, распространяются очень утешительные для немцев слухи: „Спротивление Советов подавлено в первые же часы войны. Через несколько дней немецкие войска будут в Киеве и Москве. Единственными задержками сейчас могут служить плохие дороги“.

\* \* \*

Немцы грубо выволакивают из хат и подвалов жителей Скоморох. Повернутый лицом к стене своей хаты стоит, подняв высоко руки над головой, колхозный сторож Илько Карпьяк. Рядом — его жена и дочь Мария, организатор скомороховской молодежи. Позади — два немца с автоматами. В хате идет обыск. Семья Карпьяков не знает, что будет с нею дальше. Старый Илько понимает, что значит приход немцев. Сколько труда зря потеряно, сколько коров, лошадей и свиней колхозных! А урожай какой мог быть собран. Пропали трудодни, которые и он, Илько Карпьяк, честно заработал в колхозе. Немало зерна и ему причиталось получить из нового урожая за те 180 ночей, которые отдежурил он, недосыпая у колхозного магазина! Все сейчас раскрадут, растащат...

Да что там трудодни! Все обрывается с приходом немцев. И в любую минуту может очень просто обрваться самое ценное, что есть у человека — жизнь.

Бледная, все еще болезненно ежась от недавнего удара в позвоночник, чуть-чуть касаясь пальцами побеленной стены (трудно держать все время руки поднятыми вверх — немеют), стоит рядом с отцом Маруся Карпьяк. На полных загорелых руках ее синяки, это проклятый немец так ее хватил, вытаскивая из подвала! Он, этот рыжий верзила, в больших проволочных очках, весь пропахший трубочным табаком, стоит позади на широко-растопыренных ногах. Даже говорить спокойно он не умеет, а как-то вылаивает слова, точно пес простуженный. Глянуть на него Маруся даже искоса не может: тогда пуля без предупреждения. Маруся чувствует это по всему поведению немца, наглому и безжалостному.

„Уже донесли!“ — решил председатель сельского совета Никита Пеньковский, когда в подвал к нему, освещая себе дорогу электрическими фонариками, стали спускаться немцы. Пеньковского они пока еще не видели. Рядом с женой он лежал на соломе, в самом дальнем углу подвала, загнанный туда перестрелкой, вспыхнувшей поутру в лощине под заставой. Глинистый глубокий подвал был убежищем Пеньковского и его жены со вчерашнего рассвета.

Едва раздались первые выстрелы, сонная жена Пеньковского растолкала мужа и сказала:

— Слушай, закрой окно, громы бьют!

Однако скоро им стало понятно, что это не гроза предутренняя бушует во дворе, а война срывает своими снарядами солому с крыш и рассеивает по селу смертоносную шрапнель. Все село как бы подпрыгивало на буграх, просыпаясь со своими столами, хлевами, маслобойками и приземистыми хатами. Пеньковские сутки пересидели в подвале, так как их хата стояла на очень опасном месте, обращенная фасадом к Польше и незащищенная никакими другими постройками. Любой снаряд, прилетевший оттуда, из-за Буга, мог бы пробить ее. Сегодня поутру Никита Пеньковский рискнул и вышел на подворье. Он огляделся, увидел дымок над заставой и обрадованно подумал: „Живы хлопцы!“

Вскоре послышался грохот грузовиков, и застава открыла огонь по ним. Пули засвистели над хатой Пеньковского, и он нырнул обратно в подвал. А сейчас вот немцы пожаловали к нему в „гости“, подосланные на верное кем-то из местных кулаков.

„Вот когда они рассчитаются со мною и за председательство в сельсовете, и за колхоз, который я помогал строить!“ — подумал Пеньковский.

Немцы вытащили его из подвала вместе со скрипкой, которую старик держал подмышкой завернутой в чистую сорочку.

Выкрик: „Откуда стреляли?“ — несколько успокоил Пеньковского.

„Значит, по другому делу!“ — решил он и, припоминая немецкие слова, объяснил кое-как, что не знает, откуда и кто стрелял.



— Как не знаешь! Ты же местный житель! — закричал на него немец в фуражке с изображением черепа и перекрещенных костей. — Отсюда все так хорошо видно!

— Да я в подвале сидел! Что вы от старого человека хотите? — оправдывался Пеньковский.

И его вместе с женой, пока в кате производился обыск, немцы поставили лицом к стенке. Подняв вверх свои жилистые руки с тонкими длинными пальцами, Никита Пеньковский искоса поглядывал на свою скрипку. Отброшенная в сторону, она лежала на куче прошлогодней соломы и на ее выпуклом, обтертом доньшке играли первые утренние лучи. Сколько свадеб слышало голос этой скрипки! Доведется ли еще когда-нибудь сыграть на ней Никите Пеньковскому?

\* \* \*

Еще дальше, также лицом к своей кате, стоял с поднятыми руками Сидор Герасимчук. Больше чем кто-либо, именно он ждал выстрела в спину и, цепляясь за жизнь, молил судьбу только об одном: как бы немец не сбил у него с головы шапку. Тогда — все! Оборвется последняя крохотная надежда уцелеть. Уже стало известно, что стриженных немцы расстреливали немедленно, подозревая в них переодетых бойцов Красной Армии. А Сидор Герасимчук, сын старого Василия, работал на постройке военных укреплений. Его отпустили на два дня из строительного батальона домой, и здесь Сидора захватила война. Увидит немец стриженую голову — конец, смерть!

\* \* \*

— Из Скоморохов никто не стрелял. Вам до сельских людей цепляться нечего. То не мы машины обстреливали, — заговорил с гитлеровцами Матвей Скачко по-немецки.

— А кто ж обстрелял? Расскажи, бауэр! И кстати, кто научил тебя говорить по-немецки? — оживился лейтенант полевой жандармерии Бурбенкер в фуражке с такой тульей, что она казалась больше, чем все его сухощавое, сморщенное лицо.

Матвей Скачко служил когда-то в австрийской армии, сражался „за цесаря“ на итальянском фронте и с

той поры знал немецкий язык. Он отрапортовал жандарму даже номер своего регимента.

— Отлично, — обрадовался лейтенант. — Мы тебя возьмем в переводчики. Мой переводчик заболел дизентерией, и, пока он будет лечиться, ты его заменишь. Расскажи же, кто стрелял?

Матвей Скачко шевелил молча губами, как бы подыскивая недостающие ему слова...

„Советские пограничники ведь сами не делали тайны своего существования. Раз они первыми открыли огонь по немцам, то это значит, что они принимают открытый, хотя и неравный, бой с врагом!“ — подумал Скачко и сказал:

— Мне кажется... это военные стреляли из того фольварка...

— Сколько их там? — крикнул жандарм.

— А я знаю? Может, сто, а может, двести. Они гражданским об этом не рассказывали, — ответил Матвей.

— Отлично, — сказал лейтенант. — Мы заставим их капитулировать, а ты будешь нашим парламентаром...

С белым флагом в руках, мимо креста с надписью „Мученикам за Русь“, Матвей Скачко пошел селом в сопровождении жандармского лейтенанта. Он видел, что следом за ними, в рассредоточенном строю, огородами, садами, прячась за хаты и stodолы, переползая и маскируясь, движется рота эсесовцев. Ему хорошо был понятен немецкий замысел.

„Пока под защитой белого флага я буду переговариваться с пограничниками, солдаты потихоньку подползут к заставе и, набросившись отовсюду на ее гарнизон, силой оружия принудят пограничников сдаться... Куда я иду, — думал Скачко, — выманить на расправу своих людей? Помочь немцам хитростью захватить честных воинов? Для чего мне нужно на старости лет поганить совесть, свои седые волосы?“

Утренний ветерок развеивал белый флаг в его руках, насаженный на палку из светлого дуба. На рукоятке-топорике раскаленным гвоздем была сделана надпись: „Талергоф“. Палку эту, как памятку из концентрационного австрийского лагеря для галичан, симпатизировавших России, привез в село после окончания первой мировой войны его кум Степан. Скачко прочитал знакомое слово и вздрогнул.



Из заставы застрочил пулемет, и в бойнице левого блокауза засверкали огоньки. Это заместитель политука Галченков короткой, предупредительной очередью пересек дорогу шагах в десяти перед Скачко. Пограничник как бы говорил, подсказывал этими выстрелами, что в парламентарях застава не нуждается и что подходить к ней не следует.

Немец-лейтенант сразу отпрянул за бугор. Попятился назад и Матвей Скачко.

— Я не пойду. Я боюсь, — сказал он и опустил флаг.

— Иди! Гражданского не тронут!

— Не пойду. Ищите себе другого.

— Марш! Ты австрийский солдат! Я тебя мобилизовал! — и лейтенант поднял свой никелированный „Вальтер“.

— Совесть мою ты мобилизовать не можешь, — хмуро и уже по-украински ответил Скачко и повернулся, направляясь в село.

— Русская свинья! — закричал лейтенант и разрядил в затылок „парламентера“ обойму пистолета.

Из окон заставы хорошо видели взметнувшийся над бугром белый флаг. Лейтенант столкнул ногой бьющееся в предсмертных судорогах тело крестьянина в канаву и, потрясая пистолетом, крикнул, оборачиваясь к своим солдатам:

— Вперед!

\* \*  
\*

На этот раз застава была атакована с тыла. Немцы предполагали, что с этой стороны у нее нет укреплений и, подрывая гранатами колючую проволоку, прячась за развалинами бани и конюшен, ведя огонь из автоматов, поползли двором.

Лежа на втором этаже, Максяков принялся поливать их сверху из ручного пулемета. Чтобы видеть весь двор, Максяков распростерся на двух матрацах и удобно лежал, широко раскинув ноги, изредка чуть-чуть приподнимаясь над краем подоконника. Поодаль, у стенки, с дисками наготове, притаился Зикин. Людям, ведущим огонь из окон здания, помогали с флангов станковые пулеметы и стрелки.

Атака эсесовцев быстро захлебнулась.

Из слухового окна чердака Лопатин увидел, как под старым вязом, около усадьбы Григория Гурского в Ильковичах немцы установили орудие. Закрытое плетнем и линией бугорков, оно было видно лишь с чердака. Лопатин вспомнил, что кирпичное здание заставы ни откуда не просматривалось так хорошо, как от плетня усадьбы Гурского. Стоит немцам чуть-чуть выкатить пушку из-за плетня на открытую позицию, и они могут ловить в прицел любое окно заставы. Не раз, подходя к заставе по ровному лугу, Лопатин уже издали видел вросший в холм дом с глубокими прочными подвалами, с алым флагом над крышей и радовался тому, что заставка расположена на таком выгодном бугре, господствующем над местностью. Однако сейчас он понимал, что, каково бы ни было расположение заставы, как бы ни были прочны ее стены, гарнизону прежде всего не хватало артиллерии.

„С пулеметами против пушек много не навоюешь!“ — думал он и, чтобы напрасно не терять людей, приказал всем бойцам покинуть верхние этажи здания.

Когда снаряды начали рваться подле дома и поражать его стены, разбрасывая кирпичи и подымая облака розовой пыли, в комнатах уже никого не было. Некоторые бойцы перешли в ходы сообщения, другие спустились в подвал к раненым и женщинам, готовые каждую минуту занять свои места в блокгаузах и ячейках для одиночной стрельбы.

#### 4. „ГОСТИ“ НА МОТОЦИКЛАХ

Кислый запах взрывчатки вползал в подземелье, где молча сидели бойцы и женщины с детьми, прислушиваясь к обстрелу.

— Ответить бы колбасникам, да нечем! — заскрежетал зубами Никитин.

— Чесануть их пулеметами разве? — сказал боец Егоров с перевязанным глазом. Он был ранен вблизи места гибели Сорокина. Пуля задела веко и переносицу, глазное яблоко хотя и было ушиблено, но осталось целым. Глаз только вспух и не раскрывался.

— Перевод патронов, — ответил Никитин. — Началь-



ник правильно делает, что боя с артиллеристами не принимает. Они за щитом почти в безопасности, а нам патроны для живой силы нужны, для отражения штурма.

— Тише, братцы! — сказал Зикин. — Будто бить перестали.

Все прислушались. И впрямь, на дворе стало тихо.

И в это самое время, громко стуча сапогами по выщербленному от времени ступенькам, в подвал вбежал Косарев.

— Все, кроме раненых, наверх! — закричал он.

Обгоняя один другого, бойцы выбежали из подвала. Косарев, прижавшись к стенке, давал им дорогу.

— А раненые разве не люди? — проворчал Егоров, беря автомат. — Хоть один глаз на баркас, другой — на шаланду, все равно постреляем! — и медленно, степенно поднялся наверх вслед за дежурным.

\* \* \*

Немцы окружали заставу со всех сторон. Ползли к ней и с тыла, и от Буга, и от Задворья, прикрываясь развалинами хозяйственных построек.

— Подпускать как можно ближе! — передал по ходам сообщения из левого блокауза Лопатин.

Политрук Гласов следил за продвижением немцев из-под козырька хода сообщения.

Как все это было непохоже на первую атаку немцев. Тогда они шли в полный рост, уверенные, что от одного их вида все разбегутся.

А теперь они прижимались к земле, как бы стараясь вдавить в нее свои тела. Ранцы на их спинах и похожие на термосы противогазы шевелились в такт движению. Изредка немцы залегали под буграми и, высунув оттуда головы в касках, разглядывали красневшее на холме здание заставы.

— Пугнем, товарищ лейтенант? — спросил Лопатина нетерпеливый Галченков, отрывая взгляд от прицела.

— Погоди, успеется! — сказал Лопатин, просматривая луг перед речушкой. Ему хотелось, чтобы немцы подползли как можно ближе. Один из ползущих был в очках, и в их стекляшках все время вспыхивали солнечные зайчики. Лопатин загадал: как только этот очка-

стый приблизится к дуплистой вербе, склонившей свои гибкие ветви над Млынаркой, он даст команду открыть огонь. В овраге, где протекала речушка, было „мертвое пространство“, и немцы могли там накапливаться.

Немец в очках словно учуял свой близкий конец. Он полз медленно, загребая воздух черным автоматом, и то и дело оглядываясь на ползущих позади. Невесело было, видно, ему ползти мимо ранее убитых своих солдат.

Лопатину передали, что и за баней накопилось человек двадцать немцев.

— Огонь!— крикнул он.

Ожило молчавшее столько времени здание заставы. Баянист Максяков огнем ручного пулемета с высоты второго этажа доставал немцев, подползающих от Скоморох. Бил по ним из огневой точки, вырытой под вишенкой, только сменившийся с дежурства Косарев. Зикин отдал ему свой пулемет, и Косарев, припав к затыльнику его, видел, как ложатся перед самым носом немцев его пули. Он чуть-чуть приподнял мушку и заметил, как двое немцев повернули обратно, трое солдат корчилось на лугу, пораженные его пулями. Он так увлекся, дорвавшись до пулемета, что не видел и не слышал ничего вокруг. Уже замолкли „станкачи“ в боковых блокгаузах, уже выгнал со двора в лощину гитлеровцев Максяков и сейчас закладывал новый диск, а Косарев все стрелял и стрелял короткими очередями, пытаясь настигнуть немцев, отползающих к Бугу.

— Хватит, Косарев!— остановил его Гласов, — патроны беречь надо.

Сияющий Косарев спустился в подвал и прежде всего подбежал к Евдокии Гласовой. Она раздавала обед бойцам.

— А помнишь, Дуся, как смеялись все: „Косарев такой, Косарев сякой, самый отстающий!“ А Косарев сегодня кучу немцев на тот свет отправил. Во как!— И краснощекий, довольный своим успехом, Косарев хитро подмигнул Гласовой.

\* \* \*

В наступившем затишьи послышался нарастающий треск мотоциклов. Это бешено неслись по дороге из Сокаля на Ильковичи два мотоциклиста. Клубы густой



пыли вздымались за ними. Вообще-то им надо было ехать главной проезжей дорогой мимо Скомороховских хуторов, оставляя кладбище левее, но первый мотоциклист сбился с дороги и повернул к хутору Задворье, за которым краснело здание заставы.

Теперь уже трудно установить, видел ли этот, первый, мотоциклист красное знамя, попрежнему развевающееся над фольварком, и понимал ли он, что оно обозначает?

Так или иначе оба мотоциклиста напрямик мчались к заставе. Со двора в хуторе выскочил какой-то немецкий солдат и, махая флажком, пробовал задержать мотоциклистов. Но что могли значить эти его предупредительные сигналы для связных командующего танковой армией генерала фон-Клейста, мчавшихся во Владимир-Волынский, который (как им сообщили в штабе) взят немецкими танками.

Первый мотоциклист в больших дорожных очках, в легкой зеленоватой блузе с засученными рукавами, гнал машину в открытые ворота заставы. Ему, должно быть, казалось, что проезжая дорога, минуя заставу, идет к скомороховской церкви.

На самом же деле тут был тупик.

\* \* \*

Появление мотоциклистов у сваленных снарядами ворот было настолько неожиданным, что Максяков растерялся и выглянул в окно. Ему сперва показалось, что это прибыли связные от своих.

Галченков поймал немцев на мушку „Максима“, как только первый мотоциклист проехал белый каменный крест, и хлестнул короткой очередью. Мотоцикл с полного хода врезался в насыпь. Водитель слетел в траву.

Второй связной, увидя это, заюлил, закружив по двору, но и его Галченков ударил в спину, и мотоцикл со страшным скрежетом уткнулся в каменное крыльцо заставы.

— Машины сюда! Обыскать убитых! — крикнул Лопатин.

Отступившие до этого немцы еще не успели сообразить, в чем дело, как пограничники вкатили оба мотоцикла с горячими моторами в комнату отдыха. Сразу запахло бензином.

Со всех сторон слышались одиночные ружейные выстрелы. Пули визжали за разбитыми окнами. Это немцы мешали Зикину и Коровникову обыскивать убитых.

— Да здесь рации, ребята!— закричал Максяков, осматривая скользкие от масла машины.

— Косарев, Беланов сюда! А сами останьтесь у пулемета!— приказал Гласов.

Беланов в прошлом был радистом. Косарев протиснулся к нему и, запыхавшись, крикнул:

— Работенка для тебя нашлась. Скорее наверх, политрук требует! Две рации нам немцы привезли. Давай быстро, устанавливай связь!

Весть о том, что в футлярах мотоциклов найдены рации, молниеносно облетела всех пограничников.

— Ну, теперь заживем,— говорил боец Дариченко в левом блокгаузе,— и подмогу можно будет вызвать, и со всеми связаться. Радио— великое дело. Теперь и в Кремле нас могут услышать!

— Ну, это ты, брат, перехватил,— засмеялся москвич Герасимов.— До Кремля отсюда далековато, а вот со штабом армии связаться можно. Я, брат, в этом деле тоже кое-что кумекаю.

Дариченко молчал. Радио он знал слабо и спорить с Герасимовым не хотел. Он следил из бойницы за лугом, откуда уже тянуло сладковатым запахом тления,— давали о себе знать убитые немцы.

В тючках, привязанных к багажникам мотоциклов, пограничники нашли несколько кусков мыла, печенье, сушеную колбасу, альбом с видами Вены, чистую одежду, бритвенные приборы и нераспечатанные колоды играль-ных карт в провощенной бумаге.

— Это тебе, Анфиса!— торжественно заявил Гласов.— Пострадавшие от войны обмундировываются за счет противника.— И он протянул Лопатиной новенькие альпаговые брюки и шерстяной зеленоватый свитер.

— Вот кстати. Спасибо!— сказала Анфиса и, разглядывая брюки, добавила:— Я из них сошью себе юбку.

В полевой сумке одного из убитых нашлись полевые карты-двухверстки, на которых был обозначен маршрут частей первого удара, и большая карта общего пользования, подбитая шелком.



— Карты возят, а по картам ездить не научились!— своим пренебрежением сказал повар заставы Коровников.

— Пьяные, — заметил Зикин. — Ты же помнишь, какой дух от них шел, когда обыскивали? Наглоглотались водки — и глаза им застлало!

Никитин расстелил на полу большую карту на шелковой подкладке и принялся искать родные края.

— Названия наши, а буквы немецкие. Чудно, — сказал он, водя пальцем по карте. — Загодя все подготовили!

— Вот и Волга твоя, Никитин, — указал помогавший ему Зикин.

— Видишь, куда целят? На Москву! — сказал вздохнув Никитин. — Все города наши главные поподчеркивали, колечками поокружили, будто свои собственные.

— Ничего, Никитин, выстоим. Печалиться рано, — сказал, приседая на корточки около карты, ездовой Василий Перепечкин.

— А после войны новые песни сложат люди. Получше твоей любимой про Волгу... Песню о Буге, скажем... И, кто знает, возможно, в песенке той и нас краешком заденут... Ведь иного выхода у нас нет — либо победа, либо смерть!

— Да, живыми сдаваться — все равно, что в петлю самому полезть, — согласился Зикин. — А эти, что нас окружили, почешутся еще. Помяните мое слово! Радио Беланов поправит, вызовем всех, пришлют нам подмогу, да как-как ударим! Помните, как в картине „Тринадцать“?

\* \*  
\*

Содержание этой популярной картины о тринадцати пограничниках, воевавших в песках с басмачами, очень часто вспоминали люди маленького осажденного гарнизона над Бугом. И не одно совпадение названия картины с номером пограничной заставы в Скоморохах было тому причиной, а твердая вера каждого, что враги будут разбиты и вся осада окончится благополучно, как и в заключительных кадрах любимого фильма.

Даже когда обнаружилось, что обе радиостанции неисправны и Беланов решительно ничего не мог сделать для того, чтобы связаться со штабом армии в Луцке, все

же люди заставы не теряли надежды на помощь, на прорыв окружения.

Конечно, если бы они знали действительное положение на фронтах, если бы они могли хотя бы прослушать сводку Главного командования Красной Армии за 23 июня 1941 года, то вполне возможно, что начальник заставы Лопатин поступил бы как-то иначе.

Утром 24 июня вся советская страна, кроме маленького пограничного гарнизона в Скоморохах и подобных ему гарнизонов, отрезанных от главных сил Красной Армии, слушала по радио, читала в газетах:

„В течение дня противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря, направляя главные свои усилия на ШАУЛЯЙСКОМ, КАУНАССКОМ, ГРОДНЕНСКО-ВОЛКОВЫСКОМ, КОБРИНСКОМ, ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКОМ, РАВА-РУССКОМ и БРОДСКОМ направлениях, но успеха не имел.

Все атаки противника на ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКОМ и БРОДСКОМ направлениях были отбиты с большими для него потерями. На ШАУЛЯЙСКОМ и РАВА-РУССКОМ направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу; при этом на ШАУЛЯЙСКОМ направлении нашим артогнем уничтожено до 300 танков противника.

На БЕЛОСТОКСКОМ и БРЕСТСКОМ направлениях после ожесточенных боев противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять КОЛЬНО, ЛОМЖУ и БРЕСТ“.

Даже из этой лаконической сводки Главного командования Красной Армии люди заставы в Скоморохах могли бы узнать размах военных операций с первых же дней войны. Им бы стало понятным, почему так усилилась к полудню 23 июня артиллерийская канонада на юго-западе, за Пархачами. Там, на Рава-Русском направлении, наши войска, среди них и пограничники, перешли в контратаку, отбросили немцев за пограничную линию и погнали их обратно в глубь Польши. Советские конники за Рава-Русской пробовали крепость и остроту своих клинков на спинах и головах побежавших обратно немцев.



Порубанные гитлеровцы сотнями валялись на лугах и в просеках, ведущих к Гребенной, Белцу и Томашеву.

Но ни Лопатин, ни Гласов, ни Галченков, ни все другие защитники фольварка вблизи Скоморох ничего этого не знали и не могли догадаться, почему батальон под командой оберст-лейтенанта Шмидта, осаждавший заставу, с наступлением сумерек снялся и, оставив непогребенными своих солдат, двинулся по дороге на Владимир-Волинский.

Под Владимир-Волинском завязались тяжелые кровопролитные бои. Приходилось бросать новые батальоны немцев на поддержку прорвавшихся вперед легких танков генерала фон-Клейста, чтобы избежать того, что произошло под Рага-Русской.

Пограничники Скомороховской заставы не слушали радио и не знали, что происходит у них за спиной, на Востоке, откуда доносились перекаты орудийной канонады, то затихающей временами, то вспыхивающей с новой, нарастающей силой.

Однако, верные воинскому долгу, зная, что границу без приказа оставлять нельзя, что часовой, заступивший на пост, должен стоять на-смерть, что бы ни происходило вокруг, — советские бойцы продолжали нести службу, охраняя пограничную полосу от Скоморох до Илькович.

\* \* \*

Третий день войны прошел на редкость спокойно. Ни атак, ни орудийного обстрела, лишь трескотня автоматов раздавалась у церкви, где немецкие солдаты, по приказу лейтенанта жандармерии Бурбенкера, расстреливали ворон, свивших гнезда на высоких яворах и берестах.

## 5. РУШАТСЯ ЭТАЖИ

Бегущая пыльная проселочная дорога в полевых просторах, исчезая в буераках и оврагах, вьется параллельно течению Западного Буга. Между нею и рекой тянется пограничная полоса с лугами, лощинами, кустарником, хуторами, а то и целыми селами, лежащими у самого берега.

Уже за пограничной полосой стоит на бугре в саду домик Никиты Пеньковского. Внизу, в овраге, немилосердно пыля, то и дело проносятся немецкие связные на мотоциклах, проезжают грузовики и лимузины с солдатами и офицерами.

Однако не проезжие немцы интересуют вышедшего из хаты спозаранку Никиту Пеньковского. В полуверсте от своего дома, на подступах к Бугу, он видит хорошо знакомое с детства здание, занятое заставой. Углы его кое-где вырваны, стены пробиты, в черепичной крыше зияет несколько черных дыр, водосточная труба, искореженная взрывной волной, как пушка торчит из левого угла здания.

Хоть давно высыпались там оконные стекла и взломана фугасными снарядами вековая кладка кирпичных стен, дом фольварка попрежнему высится на холме посреди черного пепелища и над ним вьется, особенно яркое в утренних лучах поднимающегося солнца, алое советское знамя.

Ворота фольварка разбиты вдребезги, проволочная ограда местами прорвана прямыми попаданиями снарядов и перерезана саперными ножницами. Узенькие, чуть заметные отсюда тропочки протянулись в овсе и пшенице к этому дому, — тропочки, по которым к людям тринадцатой заставы уже не раз подползала смерть.

Но дом живет.

Тонкий, голубоватый дымок поднимается из трубы к чистому утреннему небу, растворяясь в синеве. Должно быть, повара заставы, как и в мирное время, готовят завтрак для гарнизона.

А те, кто вытоптал колхозные овсы, кто шагал по Карбовскому лугу, уминая подорожник и лютики своими тяжелыми, гофрированными подметками, валяются убитыми вокруг. Один из них, издали похожий на пугало, повис прямо на заборе, уцепившись в предсмертной судороге за колючую проволоку.

Все это видит стариковскими, но еще зоркими глазами Никита Пеньковский — председатель сельсовета. Он шевелит от напряжения густыми, сросшимися над переносицей бровями. Но, радуясь дымку над заставой, старик замечает и то, от чего тревожно сжимается его сердце.

Четверка коней с зарядным ящиком и длинностволой



пушкой останавливается возле моста в Ильковичах. Ездовые быстро распрягают лошадей и уводят их на зады села, оставляя пушку артиллеристам. Несколько немецких орудий на конной тяге поворачивают в Скоморохи. Проходит несколько минут, и Пеньковский видит, что немцы выкатывают их на позицию за хатой Бецелюка. Одно орудие они устанавливают во дворе Бойчука. Под старым вязом в Ильковичах, около усадьбы Григория Гурского, также появляется расчехленный орудийный ствол. На задах хутора Задворье, совсем близко от заставы, немцы суетятся у пушек, открывают снаряженные ящики.

— Ой, лышенько, що ж то будэ!— слышит у себя за спиной голос жены Никита Пеньковский.— Там же дети, женщины!— Она утирает слезы вышитым краем передника и тоже не может оторвать глаз от заставы.

Одно за другим орудия поворачивают свои зеленые стволы с ребристыми надульниками в одном направлении — на дом с выбитыми стеклами, чуть пониже знамени, вьющегося над черепичной крышей.

...Уже от первого залпа облако розовой пыли взлетает над домом и долго висит в утреннем воздухе. Разлетаются во все стороны кирпичи старой кладки и тонко визжит где-то рядом над головами, еще должно быть горячий, снарядный осколок.

— Ой, лышенько, да разве так можно, целая дивизия на такую маленькую кучку людей? Хиба ж так воюють?— причитает жена Пеньковского.

— Беги в подвал, тут опасно!— подталкивает ее Никита.

— А ты?

— Иди, иди. Я приду.

Он остается один, приседает возле stodолы и, вздрагивая при каждом новом залпе, видит, как с упрямой и жестокой последовательностью снаряды впиваются в здание заставы. Все оно, как пламенем, охвачено розовой пылью, и в этой пыли ярко вспыхивают новые разрывы. И снова, после быстрых вспышек разрывов, разлетаются обломки кирпича, плитки черепицы. Розовая пелена пыли посыпает пепелище, окрашивая в один цвет весь двор.

Вот рухнула левая половина верхнего этажа вместе с крышей и балками.

Вот вырвало угол с торчащей трубой, и трубу зашвырнуло на высокую акацию.

Орудия выплевывают бурокрасное пламя. Снаряды один за другим подтачивают нижний этаж дома, отгрызают куски его стен. Упорный, жестокий обстрел длится больше часа, и, наконец, фасад здания рушится, увлекая за собой другие стены.

Долго расплзается в воздухе густое, сейчас уже почти багровое облако кирпичной пыли, сажи и дыма. Странной кажется тишина, возникшая на полях. Ведь слух уже привык к чередованию звуков: залп — разрыв, залп — разрыв!

Ветер рассеивает остатки кирпичной пыли, и Пеньковский видит, что бывшего фольварка больше нет...

На холме, где еще так недавно высился высокий прочный дом, сейчас лишь груда развалин. Уцелело только каменное крыльцо под жестяной крышей да ведущий от него в первый этаж прочный коридор. Пеньковский представляет себе, сколько пограничников завалено обломками. Он мысленно видит убитых детей, женщин, задыхающихся бойцов, тщетно пытающихся выбраться из-под развалин.

\* \* \*

И если бы Пеньковскому, наблюдавшему из садика гибель знакомого с детства дома, сказали, что в это время в подвале под домом Зикин и Давыдов доигрывали первую утреннюю партию в шахматы, а Гласова с Лопатиным набивали пулеметные ленты, — он никогда бы этому не поверил. Между тем все было так!

Изредка прислушиваясь к разрывам, Давыдов двигал вперед центральные пешки белых. Он задумал после первого же обмена вывести своего слона, шаховать им зикинского короля, чтобы лишить „противника“ рскировки.

Играя белыми, Давыдов всегда партию начинал именно так. Ему нравилось видеть расстроенный и оголенный королевский фланг. Он охотно жертвовал лишней пешкой, лишь бы держать противника в состоянии нервного напряжения, под угрозой вечного шаха.

Легким слоем розовая пыль садилась на лакированную доску, и Зикин машинально стирал ее своими шершавыми пальцами.



— Будет вам, шахматисты. Каша простынет, — сказала Погорелова и вздрогнула. Где-то вблизи раздался оглушительный взрыв.

— Ну что ж, антракт десять минут, — сказал подымаясь Зикин. — Вот бьет как, гад!

— Меньше снарядов для фронта у него останется, — хмуро ответил Давыдов.

Кроме женщин, детей и раненых, в подвале остался лишь Зикин. Он пришел сюда за патронами и задержался, ожидая пока женщины набьют ленту. Все остальные люди были в укрытиях, в блокаузах. Когда оба этажа рухнули, гибель здания не вызвала жертв.

— Ох, ты! — вскрикнул Зикин, услышав, как тяжело повалилась стена. В подвале сразу потемнело, как в осенний день, когда дождливая черная туча неожиданно заслонит солнце.

Разрушив два этажа ненавистного им дома, гитлеровцы, сами того не подозревая, оказали услугу его защитникам.

Над подвалом образовалась шапка из обломков стен и щебня. Вековые своды подвалов поддерживали этот прочный настил, и снаряды не причиняли вреда сидящим внизу.

Лишь в одном месте, там, где стена подвала, обращенная к Карбовскому лугу, поднимаясь из земли, была обнажена, остатки здания оставались особенно уязвимыми для артиллерийского обстрела. Правда, как раз здесь подвал разделялся на несколько отсеков и узких коридорчиков, которые своими внутренними переборками, как перегородки в трюме корабля, усиливали наружную стену.

Опасаясь атак именно с этой стороны, лейтенант Лопатин приказал держать здесь наготове ручной пулемет. Смотровая щель в замурованном окне была превращена в бойницу. Возле окна залегли Максимов и Перепечкин.

\* \*  
\*

После того, как дом рухнул, лейтенанту Бурбенкеру волей-неволей пришлось повести на приступ остатки приданной ему роты.

То, что он сказал солдатам, выстроенным около церквы, звучало приблизительно так: „Если там кто-ни-

будь и уцелел, то он может быть благодарен богу за то, что мы вытащим его живым из-под развалин. Впрочем, эти русские—большие фанатики, поэтому советую соблюдать осторожность. До моего сигнала ракетой двигаться только ползком!“

Осот и будяки кололи обнаженные худые локти Бурбенкера, когда он переползал по склону усадьбы Бецелюка. Бурбенкер обогнул плетень и задержался в лоцинке, доставая из-за пояса двуствольную черную ракетницу. В эту минуту до его слуха откуда-то донесся захлебывающийся детский плач. Сперва Бурбенкеру показалось, что это слуховая галлюцинация. Он приподнялся на голых локтях и увидел кусок жестяной крыши над крыльцом заставы.

Сомнений быть не могло. Это плакал ребенок! Где-то под самыми развалинами дома он заливался звенящим голоском, и его крик, вырываясь на волю, сливался с пением жаворонков, снова появившихся в небе.

Бурбенкер поднял ракетницу, целясь ею прямо в ненавистный ему алый флаг, попржнему спокойно развевающийся над развалинами.

Если бы дом не был разрушен и у окон второго этажа, как встарь, лежали пулеметчики, тогда, разумеется, они открыли бы огонь по немцам значительно раньше. Сейчас же расположенные почти что на уровне земли огневые точки обнаружили себя уже в непосредственной близости от противника.

Еще не успели две огненные ракеты, описывая дуги, упасть на Карбовский луг, как лейтенант Бурбенкер, пуская изо рта фонтан крови, рухнул на ступеньки бани.

Зикин выстрелил почти в упор в рот Бурбенкеру, оборвав его крик „хох“.

— Гранатами! — приказал Гласов.

— Гранатами! — кричал в ходе сообщения, возле правого блокгауза, Алексей Лопатин.

Султаны земли, смешанной с осколками и битым кирпичом, как неожиданный барьер, возникли на пути немцев. Одни каратели залегли в лоцинке, другие упали навзничь за развалинами конюшни, третьи, лежа на почерневших сразу полянках двора заставы, вдыхали сладковатый запах тления. Оч расползлся по двору с особенной силой, когда гранаты пограничников взрывались на трупах убитых здесь позавчера немцев.



Воинская часть, присланная для поддержки карательной роты из Сокала, снова открыла огонь по заставе из всех орудий, сведенных стволами в одну цель. Начался минометный обстрел. Повсюду стали рваться мины. Их громкое, завывающее квакание сплеталось с разрывами снарядов.

В этом все нарастающем грохоте в подвал ворвался Максяков. Он подскочил к ведру с водой. Женщины думали — Максяков хочет напиться, а он, схватив ведро, помчался обратно.

— Оставь, то для хлопчика! — крикнула Погорелова.

— А там пулеметы закипают! — задерживаясь на минуту, крикнул Максяков. — Ночью напомним! — и вполголоса сказал: — Косарева убило!

— Не может быть! — ахнула Гласова. — Тащите на перевязку!

— Какая перевязка? Весь череп разнесло! — сказал Максяков и исчез в коридоре.

Косарев! Неторопливый, добродушный, застенчивый парень... Как часто на виду у всех он болезненно переживал любую свою неудачу! И как радовался успехам! Еще совсем недавно он ворвался в подвал с радостным возгласом: „А, товарищи, Косарев-то дюжинку немце ухлопал!“ Неужели он мертв?

Погорелова теряла последнюю надежду увидеть мужа живым. В хорошо укрепленном блокгаузе не стало Косарева. Разве можно уцелеть лейтенанту Погорелову там, на открытом месте, возле моста через Буг?

Спустя несколько минут Максяков вернулся снова. Осторожно переставляя ноги, он вместе с Перепечкиным внес раненого. Бросаясь к раненому, Гласова закричала:

— Павлик, Павлуша!

От внезапного ее крика снова залился плачем умолкнувший было Толя Лопатин.

— Эх, ты! И ребенка разбудила, — отстраняя Гласову, сказал Перепечкин. — Это Дариченко. Перевязывайте скорее!

Раненого в грудь и в лицо Дариченко уложили на матрац около Давыдова.

Прошло еще две минуты, и теперь уже сам Гласов притащил на плечах раненого в ноги бойца Данилина. Данилин бежал за патронами в подвал и мина, разорвавшаяся в ходе сообщения, повалила его на землю. Женщины принялись перевязывать раненых.

\* \*  
\*

— Пробейтесь к нашим! Во что бы то ни стало! Не удастся найти начальника отряда майора Бычковского — ищите любой армейский штаб. Пусть направят сюда самолеты. Один или два. Площадку на лугу мы расчистим. Скажите: нужно женщин, детей и раненых увезти. Мы-то, здоровые, как-нибудь пробьемся!

Так говорил поздно вечером в одном из отсеков подвала Галченкову и Герасимову начальник заставы Лопатин. Изредка он отводил чеку фонарика, и тогда острый лучик выхватывал из темноты изможденные лица лучших пулеметчиков заставы. Тяжело было Лопатину отпускать их за линию окружения, отпускать, быть может, навсегда. Но иначе поступить он не мог.

„Если Галченков и Герасимов не пробьются, то другим и подавно не дойти до наших!“ — думал Лопатин.

Галченков родился и вырос в Ленинграде, Герасимов был москвичем. Привыкшие еще по гражданской работе на заводах обращаться с механизмами, оба они, как только прибыли на заставу, вызвались быть пулеметчиками.

Лопатин выдал Галченкову одну из карт-двухверсток и обозначил на ней примерный маршрут движения. Он советовал двигаться на Бараньи Перетоки, Порецк, узнать там, в чьих руках Владимир-Воыньск и, в зависимости от этого, продвигаться либо в штаб отряда, либо шагать напрямиком на Луцк, где можно было бы найти армейское командование...

\* \*  
\*

Политрук и Лопатин вышли вместе с уходящими на крыльцо. Темные, расплывающиеся во мраке, лежали соседние села. Ни одного огонька. Где-то за Ильковичами слышалась незнакомая в этих местах чужая песня.



Кто-то подыгрывал на губной гармонике. Канонада на востоке была глуше, отдаленней. Поблизости крыльца поскрипывал ручной насос. Было слышно, как хлещет в ведро струя воды. Это пограничники запасались водой на завтрашний день. Гласов приказал наполнить на всякий случай все пустые бочки.

Лопатин еще раз повторил условные сигналы:

— Как только самолеты, посланные за ранеными и семьями пограничников, покажутся над нами, застава обнаружит себя зелеными ракетами. А летчики, подтверждая, что сигнал замечен, дадут несколько пулеметных очередей.

— Двигайтесь полями да лесом! — тихо сказал Лопатин Галченкову и Герасимову. — И в драку понапрасну не ввязывайтесь. Помните о раненых. Ну, до свиданья! — с этими словами Лопатин, а после него и Гласов крепко обняли уходящих на восток пулеметчиков.

## 6. ПРИЛЕТЯТ ЛИ?

День 26 июня прошел спокойно. Атак немцы больше не предпринимали, хотя их орудия оставались на позициях вокруг заставы. Старики-крестьяне, служившие некогда в австрийском войске и кое-что понимавшие в военном деле, говорили между собой: „Молодцы хлопцы, не поддаются и еще столько артиллерии возле себя задерживают!“.

Повсюду на дорогах, ведущих к заставе, стояли теперь барьерчики с надписями: „Внимание! Опасно!“

Немцы из оцепления уже не выбегали с флажками заворачивать проезжие машины. Их водители сами, увидев зловещую надпись, проезжали стороной.

Чем выше поднималось солнце, тем все чаще Лопатин поглядывал на небо. Одинокие густые тучки лениво проползали к зениту и затем, перевалив голубой дорогой над заставой, исчезали вдалеке. Погода была самая подходящая, летная.

Дважды после полудня над Сокалем пролетали на восток большие группы ни то „Хейнкелей“, ни то „Ю-88“. Летели они довольно низко, но, даже не всматриваясь в их очертание, по одному заунывно-дрожащему звуку их моторов было ясно — не наши!

Около полуночи боец Коровников, посланный в секрет к ложине, отделяющей двор заставы от огородов села Скоморохи, передал через связного на заставу, что слышит поблизости женские голоса. Лопатин подполз к ложине, где залег Коровников, и вскоре услышал тихое: „Да не стреляйте же, товарищи, это свои!“

Друг ли это шептал или подосланный немцами лазутчик, начальник заставы еще не знал и приказал Зикину, Коровникову и Максякову приготовиться, чтобы, в случае подвоха, открыть огонь, а сам, выползая немного вперед, вполголоса сказал в темноту:

— Стрелять не будем. Давайте сюда!

Зашуршал бурьян, и вскоре из темноты показались две женские фигуры. Ползли они с опаской, минутно задерживаясь и оглядываясь назад.

— Ползите ближе, не бойтесь! — нетерпеливо сказал Лопатин.

— Мы вам хлеба напекли, возьмите, начальник! — сказала пожилая женщина в платке, спадающем на лоб.

Лопатин заметил в руках у нее мешок, от которого шел вкусный запах свежего, недавно испеченного домашнего хлеба. Запах этот чувствовали и бойцы, лежавшие в секрете. Лопатин знал, что мука в подвале на исходе. Паляницы, которые пекла Дуся Погорелова, заменяли, правда, хлеб, но куда им было равняться с этими мягкими, душистыми караваемы, лежавшими в мешке крестьянки, да и паляницы не сегодня-завтра должны были кончиться.

Но Лопатин сказал спокойно:

— Да нет, спасибо, бабоньки, хлеба у нас вдоволь, и других продуктов хватит. Скажите лучше, что в селе делается? Немцев много?

— Человек сорок возле хат в палатках разместились. Остальные на дорогах вас стерегут. И в Ильковичах немцы, — сказала женщина с мешком.

— А пробиться туда, до Порецка, можно? — спросил Лопатин.

— Конечно, можно, — сказала, кивая головой, другая женщина, и лежащий в секрете Зикин вздрогнул. Он



узнал по голосу мать своей невесты. — Они не очень-то шляхи охраняют. Убежать всегда можно.

— Зачем же нам убежать со своей земли? — сказал Лопатин. — Это пусть воры фашистские убегают отсюда, пока живы!

— Немцы дуже сердиты на вас, — сказала женщина с хлебом. — Вы их лейтенанта убили, что обыскивал нас на селе. Они бы вас на куски покраяли, да не могут. Сколько ихних вояков вы положили. Старые люди смеются: „Целая, — говорят, — дивизия немцев на пузах к этому фольварку подлазит, из артиллерии в него лупит и ничего не может поделывать с такой горсткой прикордонников“.

Приятно было Лопатину услышать эти простые слова, которыми окрестные крестьяне оценивали стойкость кучки пограничников, но он, не выдавая своих чувств, спокойно спросил:

— Далеко продвинулись немцы?

— А кто их знает? — вопросом ответила мать невесты Зикина. — Одни люди говорят, что Львов уже захватили, другие, что то — брехня, что Львов боронится. Под Грудеком Ягеллонским, слышали мы, красноармейцы много немцев положили. А вот Владимир у них уже. Один наш господарь оттуда вернулся. Рассказывает — танками они его взяли. Сильно побит Владимир, людей много пострадало.

— Слушайте, тетки! — сказал Лопатин. — В случае чего, наши люди к вам заглянут — прячьте их от немцев. Наши вернутся — спасибо скажут. Доброго дела советская власть никогда не забудет. Так и передайте всем господарям!

— Да возьмите же хлеб! Пригодится! — и женщина подтянула мешок ближе к Лопатину.

— Нет, нет, не нужно хлеба. Правду говорю. А то, что не забыли нас — за это спасибо. А зовут вас как?

— Та то пусте, то неважно! — пробормотала мать нареченной Зикина.

Либо она боялась, чтобы в темноте ее фамилию не подслушал какой-нибудь немец или предатель, а, может быть, просто торопилась.

— Жаль, что хлеба не хотите. Мы пекли, пекли... Ну, будьте здоровеньки. Трымайтесь крепко. Жинкам приветы передайте и воякам вашим всем!..

И обе женщины поспешно исчезли в ночи, лишь запах свежего хлеба еще долго слышался в лошине.

\* \*  
\*

— Может быть, я и не прав, Павлуша, — шопотом говорил, возвратившись в подвал, своему заместителю Лопатин. — Хлеба у нас нет, крестьянский был бы очень кстати. Но я рассудил так: тетки возвращаются в село и какая-нибудь из них не по злой воле, а по простоте душевной проговорится, как мы были рады их хлебу. Что это значит? Это значит, что наше дело плохо, что продукты у нас на исходе и рано или поздно нас можно будет голодом уморить. Выгодно нам такое мнение? Не выгодно. Пусть ни один такой слух до немцев не дойдет. Пусть боятся нас немцы! Скажи, так ли я поступил?

Гласов, минуту помолчав, сказал:

— Думаю, что да. Только я поговорил бы об этом с бойцами.

— Я поговорю с ними, — согласился Лопатин, — они поймут. Но смотри, Павлуша, какой народ в этих краях живет! Подумать только: ведь на пулю тетки эти могли нарваться, а все-таки не побоялись, поползли к заставе, с мешком хлеба поползли и чтобы проведать нас!

— Ничего здесь нет удивительного, Алексей Васильевич, — сказал Гласов. — Хорошую, правильную власть народ быстро понимает, вот и держится за нее. Трудовые галичане нас любят, борьбе нашей сочувствуют.

\* \*  
\*

Лежа в секрете, боец Зикин все еще чувствовал запах ржаного хлеба. Он был убежден, что добрую половину тех буханок, которые притащили в мешке женщины, напекла она, его Мирця. Зикин всматривался в густую темноту ночи и представлял себе Мирославу в холщевой, подоткнутой спиднице, ее карие, смешливые глаза, босые загорелые ноги.

Он мысленно увидел, как склонилась она над корытом с квашней и своими сильными руками ловко месит



тесто, то и дело откидывая спадающие на лоб каштановые волосы.

А потом, как тесто поднялось, она выскочила во двор, нарвала там листьев хрена и, устлая им лопату, раз за разом, быстро отставляя ногу, сажала чуть смоченные водой, обласканные ее мокрыми руками гладкие караваи на розовеющий еще от жара раскаленный под хорошо протопленной печи.

Он представил себе, как уговаривала она мать отнести хлеб на заставу, так как стеснялась сделать это сама, чтобы не обнаружить перед другими тщательно скрываемую тайну их отношений.

Она несомненно думала о нем в эти минуты, и будет очень огорчена, узнав, что хлеб не принят. Но слова Лопатина, переданные матерью, должны немного успокоить Мирославу...

С такими мыслями всю ночь пролежал в секрете пограничник Зикин. Чем чаще глядел он в сторону Скоморох, тем все яснее вырисовывалось перед ним такое бесконечно милое лицо его невесты.

Так близко было до ее хаты, каких-нибудь полверсты, но война встала на их пути, и неизвестно, когда придется им встретиться!

\* \* \*

Часу в десятом утра, как только блики солнца заиграли на холодной с ночи воде Млынарки, два маленьких пастуха погнали из Илькович отару овец. Совсем немного оставалось пройти отаре большаком до запасного, дальнего выгона. Уже маячила перед чабанами возвышающаяся на бугре близ дороги хата Никиты Пеньковского. В это время позади послышался рокот автомобильных моторов.

Водитель первой, наполненной немцами, машины вырвался из-за поворота и увидел перед собой стадо запрудивших дорогу овец. Он сразу же засигналил, сбавляя газ. За ним, уменьшая скорость, засигналили и другие шофера. Сидящий в первой машине фельдфебель приказал водителю остановиться, а сам схватил автомат, соскочил на дорогу и стал стрелять в овец.

В это время откуда ни возьмись, мягко скрипнув тормозами, к месту происшествия подъехала длинная

синеватая машина. Из нее, разминая ноги, вылез высокий с брюшком, выпирающим из-под кителя, сидящий немецкий генерал. Потрясенные видом генерала, неизвестно откуда свалившегося на их головы, солдаты замерли в положении „смирно“.

Генерал спросил причину остановки колонны. Фельдфебель, не теряясь, доложил ему, что солдаты производят „заготовку питания“. Генерал посоветовал заготовлять, да не мешкать, потому что фронт не ждал, и полез в машину.

Солдаты суетились, отбрасывая в стороны овец, чтобы дать дорогу генеральской машине, но генерал сделал знак шоферу, чтобы тот повернул вправо и поехал в объезд.

\* \*  
\*

В заставе услышали испуганное блеяние овец и выстрелы на дороге. Кто и почему стрелял, там было неизвестно. На всякий случай Лопатин приказал всем быть наготове.

В это самое время, легко шурша по гравию покрышками, во двор заставы вкатил сияющий свежим лаком и серебром радиатора длинный синеватый лимузин.

Повидимому, генерал, совершая инспекционную поездку, любил осматривать места недавних боев. Когда лимузин, в поисках окольной дороги, подкатил к развалинам фольварка, забрызганным термитом, генерал, должно быть, понял, что дом уничтожен войной. Ему стало ясно, что схватка, разыгравшаяся здесь, была жестокой и кровопролитной. Он остановил машину, открыл ее выпуклую дверцу и шагнул вперед, к полуразрушенному крыльцу, чтобы получше оглядеть место боя.

По витым массивным погонам немца Гласов понял, что перед ним какая-то важная птица. Он напряг всю свою волю, приказал своим нервам собраться в комок, когда мушка через прорезь прицела соединилась с крестом, выглядывающим из-под воротника генерала.

И дал очередь...

Генеральская фуражка с высокой тульей покатила по двору заставы. Хватая руками воздух, генерал рухнул прямо на крыло трогаящейся уже машины. Шофер погнался вниз, за сарай. Мотор скрежетал от быстро-



го переключения скоростей. Машина перепрыгнула насыпь хода сообщения и, съехав в лощину, исчезла за бугром. Ей в догонку ударили станковые пулеметы.

\* \*

— Сюда надо втащить, — приказал Лопатин. — А ну, Максяков, давай!

Но едва они подняли головы, как вокруг засвистали пули: оцепление ревниво стерегло все подступы к рубитому генералу. Он лежал навзничь в престорных брюках, в серозеленом кителе с накладными карманами, с маленькими погончиками из массивных, скрученных жгутами позументов, с немецким орлом на груди.

Несколько раз немецкие солдаты пытались подползти к своему генералу и оттащить его труп, но каждый раз, лишь стоило им высунуть каски из-за развалин сгоревших построек, пограничники отгоняли их огнем пулеметов.

После небольшой паузы немцы открывали прицельный огонь из орудий, но потом все снова надолго замолкало. Видимо артиллеристы не желали тратить снаряды, которые берегли для нового, окончательного штурма.

— Ладно, после обыщем, пусть стемнеет! — сказал Лопатин Гласову. — Не стоит из-за одного мертвяка людьми рисковать. Простить только себе не могу, Павлуша, как мы машину выпустили?

\* \*

Вскоре после этого разговора Максяков, спрыгнув в подвал из дымохода, радостно крикнул:

— Самолеты!

— То, вероятно, машины гудят на шоссе! — сказал приподнимаясь Давыдов.

— А я говорю вам — самолеты, не знаю только какие, — сказал возбужденный Максяков, — побегу к начальнику!

Пробравшись в левый блокгауз, он узнал, что там уже тоже слышали гул самолетов. В руках Лопатина Максяков увидел ракетницу.

— Слышите, начальник? — спросил Максяков.

Лопатин только рукой махнул, „не мешай, дескать“, а сам весь устремился взглядом туда, к Бараньим Перетокам. Потом вместе с Гласовым быстро выбрался из блокгауза в открытый окоп.

...Было их пять, летящих с востока, в направлении на Сокаль, на высоте 900—1000 метров. Освещенные лучами угасающего солнца, они шли к заставе, наполняя окрестности дружным гулом своих моторов.

— Наши!— закричал Гласов.— Сигналь, Алеша!

Лопатин пустил навстречу самолетам одну зеленую ракету, потом вторую. Ракеты полетели в небо и из блокгаузов. Они показывали на луг, предназначенный для посадки.

Гитлеровцы из оцепления заметили сигналы заставы. Их пули опять запели, засвистели, защелкали во дворе. Не обращая внимания на обстрел, пограничники жадно следили за небом.

Серебристые, охваченные багрянцем заката, самолеты шли, тяжело урча, уже над головой. Пилоты не могли не видеть ракет!

— Приготовиться к очистке луга!— закричал Лопатин.

Все было решено заранее: как только самолеты начнут снижаться, часть бойцов выскочит на луг, чтобы сбросить с него трупы немцев, другие бойцы станут выносить из подвала раненых и укладывать их в овраге Млынарки. Туда же прибегут женщины с детьми, чтобы успеть погрузиться в самолеты.

— Еще ракету!— закричал Гласов.

Флагманский самолет повернул к Свитажеву. За ним остальные.

Они выстраиваются в цепочку и описывают круг за кругом над заставой. Ничего, что отовсюду бьют пулеметы немцев! Незажно, что пули тонко и надрывно звенят где-то совсем близко.

Еще две зеленые ракеты помчались к зениту, задержались там на мгновение и затем, рассыпая желто-зеленые брызги, медленно поплыли на луг.

Чувство того, что в воздухе свои, советские люди, возможно, посланные на выручку заставе высшим командованием, помогало забыть об опасности.

Бойцы уже были готовы выскочить из траншей, как круг самолетов внезапно разомкнулся — и они полетели вслед за вожаком дальше, на северо-запад, к Варезу.



Все ждали, что за Бугом они развернутся и, опускаясь, снова покажутся над фольварком. Думали: их временное исчезновение лишь маневр для обмана немцев. Предполагали, что вырвутся они со стороны Черного леса.

И хотя гул самолетов умолкал и все постепенно начинали понимать, что они легли на курс, надежды на возвращение самолетов не пропали.

— Я вам говорю — воротятся ночью! — горячился Перепечкин. — Высмотрели днем, как удобнее к нам подойти, чтобы истребителей немецких на хвост не посадить, а сейчас уходят к себе обратно, темноты ждать...

— А зачем им горючего столько понапрасну портить? — не соглашался Давыдов. — Раз — сюда, раз — обратно, потом опять сюда! Такие концы! Да и людям не легко.

— А попробуй-ка, сядь сейчас днем под таким обстрелом! Мигом немцы зажигательными ударят по самолетам! — не унимался Перепечкин.

— А ночью, думаешь, не ударят? Из темноты им еще сподручнее бить будет! По кострам-то!.. — протянул Давыдов.

— По кострам пусть бьют! Самолеты в стороночке сядут, а мы тем временем на хутор к немцам ворвемся, такой им ералаш устроим — держись! Мигом забудут о самолетах. А вам, раненым, остающиеся здесь ребята славную посадку устроят, как в курьерский поезд. И для нас, быть может, еще места найдутся! — фантазировал Перепечкин.

Споря с Давыдовым, он уже знал, что, отсылая связанных, Лопатин поручил им предложить командованию два варианта: смогут самолеты приземлиться сразу — все будет сделано для их приема немедленно, как бы этому ни мешали немцы, даже ценою жертв со стороны пограничников. Найдут летчики нужным прилететь ночью, — застава встретит их в темноте, Карбовский луг будет освещен кострами как хороший ночной аэродром. Часть пограничников в это время бросится в контратаку на Задворье и на Скомогохи, чтобы отвлечь внимание немецкого оцепления.

Теперь Лопатин снова до мелочей продумывал, как же лучше встретить самолеты ночью.

В подвале рубили ящики из-под патронов и гранат. У входа были поставлены наготове банки с керосином. Пограничники, назначенные для вылазки, подвешивали к поясам гранаты, набивали подсумки и карманы патронами. Из брезентовых плащ-палаток и палок, на которых до войны носили на стрельбище мишени, женщины смастерили удобные носилки для раненых.

Удалось ли Галченкову и Герасимову добраться до советского командования?

Действительно ли пятерка самолетов, появившаяся над фольварком, была послана на выручку осажденным пограничникам? Или это были скоростные бомбардировщики, шедшие бомбить тылы танковой армии генерала Клейста, привлеченные сигналами заставы?

Да и были ли вообще эти самолеты советскими?

Однако сомнения и неуверенность отдельных бойцов не могли погасить общей надежды, что наступающая ночь с 27 на 28 июня может принести им избавление. Позабыт был уже и убитый генерал. Забыты были все невзгоды прошедших дней обороны.

Сильное, непреодолимое желание соединиться со своими заслонило остальное, второстепенное, и даже сомневающиеся в успехе перелета по воздуху пограничники верили, что эта ночь окажется самой удачной за всю неделю.

## 7. САМАЯ ТРУДНАЯ НОЧЬ

„На Лудком направлении в течение дня развернулось крупное танковое сражение, в котором участвует до 4.000 танков с обеих сторон. Танковое сражение продолжается.“

В районе Львова идут упорные напряженные бои с противником, в ходе которых наши войска наносят значительное поражение ему.“

(Из сообщения Советского Информбюро за 28 июня 1941 года).

27 июня в половине одиннадцатого вечера багровый отблеск оружейного залпа осветил крыши избышек на окраине Задворья. От первого же снаряда, выпущенного по заставе, во дворе фольварка стало так светло, будто бы кто-то внезапно на холме зажег сотни элек-



трических ламп. Даже пулеметчики в блокгаузах могли различить любую стреляную гильзу у себя под ногами.

— Бьют термитными, — догадался Лопатин и, посылая Зикина в подвал, сказал ему:— Пусть законопатят все дырки во двор. Дверь наружу не открывать!

Снаряд, врезавшийся в стенку подвала, обращенную к Карбовскому лугу, стекал бело-огненной массой по кирпичам, распространяя удушливую серную вонь. Казалось, что кто-то невидимый прикоснулся к стенке огромным электродом и водит-водит им, образуя вольтову дугу, а металл расплывается на кирпичах, отбрасывая окрест зеленовато-синие блики.

Женщины затыкали щели в окнах подушками, мокрыми тряпками. Запах серы уже чувствовался и в подвале. Он становился с каждой минутой все сильнее. Немецкие артиллеристы посылали снаряд за снарядом по остаткам заставы.

Изредка на холме с оглушительным треском рвались бризантные снаряды, и опять со сводов подвала сыпалась кирпичная пыль.

— Поджарить нас хотят за того генерала пузатого, — заметил Егоров.

— И костров разжигать не надо — светло, как днем, — сказала Гласова, приоткрывая на мгновение дверцу коридора.

— Спета наша песенка! — тихо, сквозь зубы, протянул Дариченко.

Около него застонал Данилин. Ему становилось все хуже.

— Потерпи, Дариченко, самолеты сядут и... — попробовала утешить раненого Погорелова.

— Эх, Дуся, какие самолеты, когда такое делается? — всердцах перебил Погорелову Давыдов. — Какой летчик сядет на луг под таким обстрелом?

— Не сядет сейчас, так позже прилетит! — сказал политрук Гласов, быстро входя в подвал и с силой захлопывая за собой дверь. В час обстрела он хотел быть с теми, кто больше всего нуждался в душевной поддержке. Он прекрасно знал, какие тяжелые мысли гнетут сейчас раненых, так надеявшихся, что еще сегодня ночью их увезут отсюда.

— Вы это серьезно говорите, товарищ политрук, что за нами могут прислать самолеты? — спросил Давыдов.

— Не только говорю, но и уверен в этом. Вспомни, Давыдов, как челюскинцев с льдины спасали. Оттуда, брат, куда труднее было вывозить людей: пурга, ветер, ропаки, на тысячи километров жилья не сыщешь, и все-таки спасли!—горячо сказал Гласов.

— Тогда сам товарищ Сталин этим спасением занимался,— задумчиво протянул Давыдов.

— А почему ты решил, что товарищу Сталину о нас не доложили?— запальчиво сказал Гласов.— Быть может, как раз в это самое время товарищ Сталин и о нас с тобою думает.

— У него поважнее сейчас дела есть — как немца отбросить, как страну спасти,— хмуро сказал Давыдов.— Ему о миллионах сейчас заботиться нужно! А мы — что? Горсточка!..

— Мы с тобою, Давыдов, тоже наша страна!— страстно воскликнул Гласов.— А товарищ Сталин умеет думать и о миллионах, и об одном человеке, попадающем в беду!

— Вы скажите мне, товарищ политрук,— вмешался в разговор Егоров,— откуда у товарища Сталина столько сил берется, как он успевает думать обо всем?

— Откуда у товарища Сталина столько сил? Откуда его талант вождя, ты хочешь спросить? Мне думается, от его знания народа,— сказал Гласов,— и от той большой и трудной жизненной школы, которая за плечами у товарища Сталина. Вот послушайте-ка, как об этом просто рассказано. Дуся, подкрути-ка лампу!

Гласов достал из полевой сумки уже порядком зачитанную книжку. Он примостился на приступочке прохода, ведущего в крайний отсек, в котором перед законопаченной сейчас щелью стоял на сошках ручной пулемет, и раскрыл книжку на странице, заложенной гусиным перышком.

„Ремесло подпольного агитатора, профессионального революционера, увлекшее Сталина, как и многих других,— это тяжелое ремесло. Кто взялся за него, тот вне закона, за ним охотится весь аппарат государства, его травит полиция. Он — добыча царя и его огромной, откормленной вооруженной до зубов, многорукой своры... Займешься этим ремеслом, и куда ни глянь — на горизонте четко, вырисовываются тюрьма, Сибирь да виселица. Этим ремеслом может заниматься не всякий. Надо иметь желез-



ное здоровье и всесокрушающую энергию; надо иметь почти беспредельную работоспособность, надо быть чемпионом и рекордсменом недосыпания. Надо уметь перебрасываться с одной работы на другую, уметь голодать и щелкать зубами от холода, надо уметь не попадаться, а попавшись — выпутываться. Пусть тебе выбьют все зубы, пусть тебя пытаются раскаленным железом — надо стерпеть, но не выдать имя или адрес. Все свое сердце надо отдать общему делу; отдать его чему-либо другому — нет ни малейшей возможности: постоянно приходится перебрасываться из города в город, — ни минуты свободного времени, ни копейки денег. Это еще не все. Надо быть пропитанным надеждой до самого мозга костей; даже в самые мрачные минуты, даже при самых тяжелых поражениях надо неуклонно верить в победу\*.

Гласов замолк. В блокадах трещали пулеметы, ведя огонь по Задворью. В углу слышалось тяжелое дыхание Данилина.

— Вот потому-то я и верю, что товарищ Сталин думает и о нас, — помолчав, тихо сказал политрук Гласов.

— Здорово написано, — протянул Егоров. — Кто ж это сочинил?

— Это написал человек, который учился жить и думать у Ленина и Сталина, — сказал Гласов, — французский коммунист Анри Барбюс. Он тоже был солдатом, носил шинель и воевал с немцами в прошлую...

Грохот разрыва оборвал слова Гласова. Яркая вспышка мелькнула в отсеке, точно молния, залетевшая со двора. Пошатнулась лампа от сильной воздушной волны, казалось, еще немного — и она погаснет совсем. Но вот огонек в стеклянном колпаке выправился.

Когда в подвале стало светло, все увидели, что на прежнем месте Гласова нет. Отброшенный силой взрыва, он лежал на земляном полу, а по затылку его стекала кровь...

\* \* \*

Наступило утро.

Хотя немцы и продолжали бить термитными снарядами по заставе, при дневном свете обитателям подвала уже не было так страшно, как ночью. Дверь в коридор приоткрыли. Женщины расконопатили окно, выходящее во двор. В сером полумраке виднелись забинтованные раненые. У Данилина уже не было сил стонать. Лишь

изредка открывал он пересохшие губы, собираясь что-то сказать, и снова погружался в забытье.

Сейчас немцы стреляли с паузами — выпустят несколько снарядов, потом посылают солдат в разведку. Пограничники отгоняли их огнем. Наступало несколько минут передышки, но вскоре орудия вновь открывали огонь. И так все время, как только начало светать.

Лопатин понимал: немцы прощупывают и засекают его огневые точки. Чтобы обмануть немцев и сберечь людей, он стал менять позиции пулеметчиков. Отгонят пограничники немцев, и сразу же по ходам сообщения перетаскивают пулеметы в запасные гнезда, а немецкая артиллерия ведет огонь по пустым блокгаузам.

Люди очень устали от частых перебежек. Запыленные, с запавшими щеками, в измазанных глиной и штукатуркой гимнастерках, они подчас не могли даже сбегать в подвал напиться воды.

Как хорошо, что Гласов во-время догадался залить водой все пустые бочки! Если бы не это — туго пришлось бы людям и пулеметам!

— Почему не брит, Максяков? — остановил перетаскивавшего ручной пулемет баяниста начальник заставы.

Он сказал, а сам смотрел куда-то в даль сосредоточенным, отсутствующим взглядом. Все чаще и чаще после смерти Гласова бойцы замечали в глазах Лопатина этот далекий, отсутствующий взгляд. Видно было: он говорил одно, а думал другое.

Поставив пулемет прикладом на землю, Максяков провел ладонью по заросшей щеке и сказал виновато:

— Такая кутерьма — разве побреешься?

— Все равно надо!

— Есть побриться! — послушно крикнул ему вслед Максяков и закрыл лицо руками.

Он успел заметить лишь быструю вспышку пламени и поплывшую куда-то вверх мокрую балку, вырванную из правого блокгауза прямым попаданием.

Открывая глаза, Максяков заметил бегущего к блокгаузу Лопатина.

„Как хорошо, — подумал Максяков, — что начальник заговорил со мной! Не задержись он здесь и...“

Спустя несколько минут Лопатин привел в подвал новых раненых.



Первым, зажимая рукой окровавленное бедро левой ноги, спустился вниз Никитин. Сильное, все в желваках, играющих под кожей, загорелое лицо его было перекошено от боли, губы побелели, но все же он был не так страшен, как низенький и коренастый, уроженец города Иванова, ефрейтор Песков. Лицо Пескова было изуродовано не то снарядным осколком, не то камнями. Его напарнику Конкину поранило обе руки. Конкин держал рукоятки „Максима“ в ту минуту, как разорвался снаряд.

— Пулемет разбило, вот жалость!— сказал Конкин, войдя в подвал.

Раненые усаживались на матрацах. Лопатин быстро прошел в отсек.

Там, у кирпичной стены, исполосованной снаружи подтеками термитных снарядов, лежал на сером солдатском одеяле мертвый Гласов. Голова его была забинтована сложенной вчетверо чистой простыней. Но Лопатин знал, что это он, его друг, первый его заместитель, земляк.

Лопатин ворвался сюда сразу, в разгар ночного боя, как только услышал, что ранило Гласова. Бережно отирая платком кровавую пену, закипающую в предсмертном дыхании на губах Гласова, и ничего не видя, ничего не слыша вокруг, начальник заставы шептал:

— Держись, Павлуша, не сдавай... Ты выпарапашься... Держись... Смотри на меня... Слышишь?

Но держаться было трудно. Нельзя. Невозможно. Когда мозжечек человека рассечен горячей сталью, самые нежные слова не помогают.

На корточках около мужа, неподвижная и окаменевшая в своем горе, сидела Дуся Гласова. Серое, сразу постаревшее ее лицо было испещрено подтеками слез.

— Оставьте мужа, Гласова, перевязывайте бойцов,— сказал Лопатин.— Ничем вы ему уже не поможете.

Гласова, пошатываясь, встала. Она приложила руку к вискам, поправила волосы и, не глядя, шагнула вперед с той самой приступочки, с которой упал он, ее Павел.

— Дай мне зеркальце, Дуся!— сказал идущий навстречу землячке ефрейтор Песков.

Она сперва его не узнала и молча вглядывалась в страшное, окровавленное лицо. Чужое несчастье верну-

ло ее к жизни. Она машинально пошарила в карманах жакетика и протянула Пескову овальное зеркальце в никелированной оправе.

Песков посмотрелся, покачал головой и сказал:

— Родная мать и та не узнает...

— А ты водичей обмой, Песков, враз полегчает, — сказал сквозь зубы, морщась от боли, его напарник Конкин. Он полоскал в банной шайке свои пораненные руки.

— Думаешь? — спросил Песков, протирая глаза и подходя к нему. — Она же солонватая, должно быть, из-под огурцов?

— Неважно. Огуречный рассол крепость дает. Он как бы вроде дезинфекции! — бормотал Конкин, скрывая боль. Ему тяжело было шутить, но, всегда упрямый, азартный, он и сейчас не хотел выказывать свою слабость перед товарищами.

Песков подождал, пока Конкин помоеется, потом сполоснул несколько раз бачок и налил туда свежей воды. Он осторожно наклонил голову и плеснул водой в израненное лицо.

— Ой, жжет! — вскрикнул он от боли.

— Терпи! Терпи! Пусть жжет, зато всякую нечисть вымоет, а потом женщины тебя иодом побрызгают, и снова красивый будешь, — сказал Никитин. — Вода не страшна, она любое лекарство заменяет, если поблизости ничего подходящего нет. Я, брат, однажды себя косою по ноге протянул. Думал, изойду кровью. Подбежал к Волге, сполоснул водичей ногу, надрал капусты заячьей, рукавом от рубахи замогал и все. Затянулось. Одна метка осталась!..

Женщины разрывали простыни на длинные полосы, Аяфиса и Погорелова быстро свертывали их.

Безучастная ко всему, ошеломленная своим горем, Глазова стояла около них не шевелясь.

Погорелова свернула последний бинт и, положив его на одеяло, подошла к Глазовой.

— Обе мы с тобой овдовели, родная. Как не горюй — не воротишь. Помогай лучше перевязывать. За работой оно как-то легче...

Измазанный сажей, весь черный, как трубочист, из дымохода, который попрежнему служил наблюдательным пунктом заставы, спустился Зикий.



— Герман вокруг нас уговорился, — доложил Зикин Лопатину. — Одни наблюдатели у пушек остались. Все, должно быть, завтракать пошли. А вот на Тартаковском шоссе, товарищ начальник, опять пыль столбом. И стреляет кто-то на старом месте.

— Тише, — сказал Лопатин и, прижимаясь к окну, выходящему во двор, стал прислушиваться.

В самом деле, в густом грохоте движущихся к востоку танков противника время от времени слышались короткие и жесткие удары. Были они не похожи ни на пулеметные очереди, ни на взрывы гранат, ни на стрельбу обычных полевых орудий.

„Похоже — мелкокалиберная пушка! — подумал Лопатин. — Но откуда же ей там взяться? А вдруг это наши на танках сюда прорываются? — мелькнула и сейчас же погасла в его усталом от бессонных ночей мозгу радостная мысль. — Нет, это не наши стреляют!“

Короткие резкие разрывы слышались на одном и том же месте, несколько километров южнее, а гул танков постепенно передвигался к Радехову.

Кто же все-таки стрелял на юго-западе от Скомо-рох в то тяжелое утро 28 июня?

Начальник заставы отошел от окна. Женщины уже заставили Никитина снять штанину брюк. Он сидел смущенный и разглядывал рваную осколочную рану на сильном мускулистом бедре.

— Кость цела? — быстро спросил Лопатин.

— Думаю, да! Раз ступить могу — значит цела. А вот мясо и жилы разворотило видите как?

— Двигайся поменьше. Перевяжут — ложись! — сказал Лопатин.

— Какое же там лежание, — ответил Никитин. — А если пойдем?

— Куда пойдем? — не понял Лопатин.

— К нашим... Вы еще верите, товарищ лейтенант, в подмогу?

— Если Галченков и Герасимов пробились, — верю! — сказал Никитину начальник заставы.

— А вдруг подмога опоздает? — спросил Никитин. Морщась от боли, он поднял обеими руками ногу еще выше, чтобы женщинам удобнее было ее перевязывать.

— Все равно, Никитин, лучше умереть стоя, чем

жить на коленях! Так говорили коммунисты Испании, воюя с фашистами. Мы, советские люди, научили их таким словам, и можем повторить их здесь, около Буга! — сказал Лопатин.

— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! — прошептал, преодолевая боль, стоящий рядом с ним Конкин. Ожидая своей очереди перевязываться, он вытянул вперед израненные руки.

— Верно, товарищ лейтенант, — согласился Никитин, с трудом подтягивая штанину на забинтованное бедро. — Наши думы одни с вами и положение равное, хотя вы и начальник, а мы рядовые. А как на соседних заставах? Почему их не слышно? Может быть, они иначе поступили?

Лопатин помолчал.

— Я знаю о них ровно столько, сколько и ты, Никитин. Но я думаю, что они ведут себя так же, как и мы.

## 8. КЛЯТВА В ТУМАНЕ

Ближе к полудню в воскресенье 29 июня солнце было окутано багрово-дымным венчиком, словно готовилось к затмению. Странный дымчатый нимб видели жители львовских окраин, уже занятых немецкими танками. Побагровевшее солнце наблюдали и люди тринадцатой заставы в Скоморохах.

Худой, осунувшийся лейтенант Лопатин решил, что это — к дождю. И вспомнил старую морскую поговорку: „Солнце красно с вечера — моряку бояться нечего, солнце красно поутру — моряку не по нутру“.

Перемена погоды не могла изменить положения окруженного гарнизона. Люди его все меньше поглядывали на небо. Уже почти никто не надеялся на помощь с воздуха.

Немцы не беспокоили защитников артиллерийскими обстрелами, и Лопатин понимал, что, понеся большие потери, они придумывают какой-то новый способ, чтобы заставить пограничников сдаться. Может быть, они ожидают саперную часть или тяжелую артиллерию, способную крупнокалиберными снарядами поднять из земли на воздух остатки дома? А может быть, они хотят применить газы или дымовые шашки?

Чего мог ожидать гарнизон сегодня, завтра — Ло-



патин не знал. Одно ему было ясно: немцы применяют любые средства, чтобы добиться своего.

Лопатин все еще не мог свыкнуться с мыслью, что нет Гласова. Даже думать о нем, как о мертвом, начальнику заставы было невыносимо тяжело. К тому же на заставе чувствовалось отсутствие любимого политука. Лопатин делал все, чтобы заменить погибшего: в минуты затишья, когда немцы, даже одиночными выстрелами, не беспокоили заставу, Лопатин подсаживался к раненым, подолгу беседовал с ними, пробовал шутить. Но горечь незаменимой утраты давала себя знать все сильнее. Лопатин часто ловил себя на том, что он стал нервничать, раздражаться, иногда покрикивать на жену.

В тот день уже с обеда Лопатин обдумывал новое решение, но рассказал о нем всем лишь с наступлением темноты.

Начальник заставы задумал вывести подчиненный ему гарнизон из окружения и пробиваться к своим.

В подвале при свете лампы обсуждали, как лучше двигаться на восток, минуя большаки и шоссевые дороги, на которых могут оказаться немцы. Кто-то из темноты сказал:

— Через Грушев надо!..

Повеселевший Давыдов откликнулся:

— Обязательно через Грушев. Там надежные люди живут и помогут нам всегда. Там у меня знакомый есть — дед Леон Харук, 90 лет той осенью исполнилось. Да мне бы только с вами к нему добраться. Он всех нас и накормит, и от немцев спрячет, в случае чего. Этот дед, сказывают, еще русских революционеров с Ленинской „Искрой“ через царскую границу переводил... У него, почитай, полсела родственников!

\* \* \*

Выходили в понедельник, после полуночи. Группа, под командой старшины Клещенко, выйдя из заставы, должна была пробиваться сразу на северо-восток к селу Бараньи Перетоки и там, в леске за селом, в условленном месте, подождать остальных. В группу Клещенко, кроме здоровых бойцов, входили раненые Конкин, Песков, Давыдов, Никитин и старуха-мать Лопатина.

Сам Алексей Лопатин двигался вместе с остальными бойцами, женщинами, детьми и ранеными, которые не вошли в группу Клещенко.

Медленно, в полной темноте, задерживая дыхание и с трудом переставляя ноги в узком полузасыпанном окопе, шли за начальником заставы женщины и дети. Здоровые бойцы несли раненых. Укачивала на руках сонного Толю Анфиса Лопатина. Сдерживали стоны раненые. Они понимали, что один неосторожный звук может погубить всю группу.

Лопатин, выйдя первым, решил вести свою группу окольным путем. Двигаясь в направлении белого каменного креста под вишенкой, он думал проскользнуть ложиной под самым носом у жандармских патрулей около хутора Задворье, надеялся пересечь большак, соединяющий Скоморохи с Ильковичами возле усадьбы Никиты Пеньковского, и податься дальше, в обход, на Стенятин. А уже из этого села, как казалось Лопатину, можно будет повернуть вверх, к Бараньим Перетокам, к тому леску, где решено было собраться всем.

Двигаться было не легко. В одном месте ход сообщения оказался заваленным упавшими сверху балками. Чтобы перенести Дариченко через бревна, Максяков повернулся к раненому лицом и попятился, высоко поднимая носилки. Заминка остановила продвижение всей группы.

Подойдя к левому блокгаузу, Лопатин вылез из окопа и хотел было подхватить носилки, как вдруг услышал, что во дворе, под чьими-то ногами, зашелестел бурьян.

— Немцы! — шепнул Лопатин, и спрыгнул обратно в окоп. „А что если они накинутся на группу Клещенко, приготовившуюся выходить?“ — подумал он и приказал поворачивать обратно.

Они вернулись в подвал. Там уже никого не было из первой группы.

Оказалось, это люди Клещенко шелестели бурьяном, пробираясь до скомороховской дороги, мимо той самой канавы, где все еще лежал непохороненный Матвей Скачко.

Ждали минуту, другую, третью...

Думали, вот-вот разорвут эту предутреннюю тишину выстрелы там, на линии большака. Опасались — завя-



жется ночная перестрелка, преграждая пограничникам дорогу во Владимир-Волыньские леса. Но все было тихо.

Пропел и туго захлопал крыльями сонный петух за усадьбой Беделюка. И опять — ни звука. Только ветер шелестел в бурьяне.

...Раненых положили прямо с носилками на землю подле ступенек, ведущих в коридор. Тихо стонал Данилин. Вдруг неожиданно захрипел Дариченко, и все поняли: начинается агония. Он держался из последних сил, пока его несли, надеялся, что попадет на чистый операционный стол, в руки опытного хирурга в первом же военном госпитале. Когда же он вновь увидел над собой кирпичные своды подвала, угасла последняя надежда на спасение. Силы окончательно оставили Дариченко...

— Давайте бежать, Алексей Васильевич! — сказала Гласова, касаясь рукой плеча Лопатина.

Начальник заставы молчал и напряженно смотрел в светлеющий квадратик восточного окна. Что чувствовал он в эти минуты наедине со своими мыслями?

Возможно, он вспомнил все, что связывалось в его сознании со священным понятием воинского долга, включающим в любых случаях их положения трусливое слово „бежать“?

А, быть может, торжественные слова „Варяга“ — любимой песни, которую, бывало, пели в его родном селе Аристиха старики, побывавшие на японской войне, проникали в его мысли издали, с зеленых лугов Ивановской области, где прошло его детство. Сколько раз играл ему „Варяга“ и здесь на своем баяне Максяков!

Разве не была сейчас чем-то подобным „Варягу“ застава — это на две трети сметенное огнем, но все еще плотно вросшее своим основанием в землю, искалеченное, засыпанное грудями кирпича и землю старинное здание, над которым все еще вился простреленный алый советский флаг?

Разве не был он капитаном этого здания — корабля, в подвалах которого все еще хранились в запаенных цинковых коробках патроны, лежали в ящиках гранаты, бронзовые детонаторы, винтовки?

А, быть может, стоя у окошка подвала, Лопатин вспоминал иной, поздний осенний рассвет 1939 года? То был день производства его в офицеры и прощания с родным училищем...

На широком мощеном плацу выстроены все курсанты. Ветер с Волги приятно освежает недавно умытые лица. Первый взвод ушел за знаменем в штаб. И вот, наконец, появляется оно из далеких дверей штаба. Знаменосцы поспешно распускают его, и ветер рвет бархатное полотнище из рук лучшего курсанта. Звучит команда: „Училище, под знамя! Смирно!“

Торжественные звуки встречного марша гремят на старом учебном плацу. А потом курсанты слышат голос начальника училища, читающего приказ. Отныне он, Лопатин, бывший слесарь Ковровского экскаваторного завода, — командир самых отборных, самых лучших воинских частей Советской страны.

Двумя часами позже начальник штаба сказал ему:

— А вас, Лопатин, мы решили направить к Черному морю. Места хорошие!

Немного помолчав, Лопатин попросил:

— Направьте меня лучше на Запад! Там погиб от немцев мой отец.

Во Львове, прежде чем явиться за назначением в штаб войск, Алексей Лопатин взбирается на Высокий замок. Над его обрывистыми склонами, поросшими смереками, грабами, березами, над близкой к замку могилой первопечатника Руси — Ивана Федорова Алексей Лопатин вспоминает свои родные места.

Простор, открывающийся взгляду с Высокого замка, напоминает Лопатину широкое раздолье Поволжья. По склонам Высокого замка во Львове Лопатин с особой остротой осознал, как велика, необозрима его Родина, его Отечество, пославшее лейтенанта-волжанина сюда, в Галицию, охранять рубежи воссоединенной навеки Украины.

Разве не за это объединение еще тогда, в первый год советской власти, сражался и погиб его отец, русский солдат в простой серой шинели?..

— Светать уже скоро будет! Пойдем, товарищ начальник! — более настойчиво, прикасаясь к плечу Лопатина, говорит Гласова.



Дариченко уже умер. Его накрыли простыней и отнесли на носилках в сторону.

Лопатин отошел от окна, осветил лежащего в беспмятстве Данилина и сказал:

— Нет, Дусенька, никуда мы, мужчины, не пойдем. Я без приказа заставу не оставляю. Вы с детьми идите напрямиком на Стенятин, а потом заворачивайте к леску. Одних вас, без военных, пожалуй, никто не тронет. А с нами — попадетесь.

\* \* \*

Прощались уже на крыльце. Туман поднялся высоко. Сейчас он застилал белой, клочкообразной пеленой весь двор заставы, скрадывал очертания сгоревших конюшен, неслышно и воровато взбирался на побитое осколками крыльцо. И всем казалось: не у развалин дома они стоят, а на макушке высокой, неприступной горы, пробившейся к небу сквозь слой густых облаков.

Алексей Лопатин крепко поцеловал Славика, легко прикоснулся ко лбу Толи, стараясь не разбудить малыша, осторожно обнял жену. Он простился и с остальными женщинами, погладил по головке Светлану Погорелову и тихо сказал:

— Прощайте! Клянемся вам, что будем биться до последнего, но живыми фашистам не сдадимся!

Женщины с детьми неслышно спустились по холодным ступенькам крыльца и, мягко ступая по траве, скрылись в направлении на Стенятин.

Лопатин, стоя на крыльце, еще долго глядел им вслед, пока они совсем не исчезли в молочном тумане.

\* \* \*

Утром, едва взошло солнце и клочья тумана, разгоняемые его лучами, расплзались и как бы таяли, оставляя мокрые следы на скрюченных трупах немцев, опять заговорили два станковых пулемета. Им вторили одиночные винтовочные выстрелы.

Маленькая горсточка пограничников — последние защитники заставы над Бугом — выполняла клятву, данную лейтенантом Алексеем Лопатиным от их имени в густом предраассветном тумане.

Шел девятый день обороны заставы — понедельник 30 июня 1941 года.

В это утро немецкие войска с разных направлений входили во Львов. Части 101 дивизии немцев проходили уже под тополями Академической улицы, а штабные офицеры осматривали гостиницу „Жорж“, где предполагал остановиться сам командующий группой „Юг“ генерал-фельдмаршал Рейхенау.

Чины полевой жандармерии уже занимали в этот день „Бурсу Абрагамовичей“, в гористой, примыкающей к Стрийскому парку, окраине Львова. В больших досье, которые раскладывали гитлеровцы на столах в „Бурсе Абрагамовичей“, хранились, составленные заранее по заданию Гиммлера краевой организацией украинских фашистов, „черные списки“ намеченной к немедленному истреблению львовской интеллигенции.

30 июня 1941 года легкие и тяжелые танки поддерживающей группы „Юг“ танковой армии генерала Клейста захватили уже Дубно, Кременец и, прорываясь на Ровно, стремились поскорее достигнуть линии старой государственной границы СССР.

Часть танков катилась к Тернополю, чтобы перерезать дорогу из Львова на Киев.

Старинное село Скомогохи было уже в глубоком тылу гитлеровских войск.

Однако попрежнему государственный флаг Советского Союза развевался над развалинами фольварка, на высоком холме, припорошенном кирпичной пылью.

## 9. СВОИ И ЧУЖИЕ

Уже светало, когда женщины с детьми подошли к Стенятину. Впереди шла Погорелова с горькими складками в уголках рта.

Было условлено: на все вопросы встречных будет отвечать именно она, полтавчанка, хорошо знающая украинский язык. „Пусть думают, что мы местные“, — решили женщины.

Показались первые хаты Стенятина.

Из сарая большой усадьбы слышалось, как журчат струи сдаиваемого молока. Женщины переглянулись и замедлили шаг.

— Давай попросим молока, Фиса?, — шепнула Гла-



сова, вопросительно глядя на Лопатину. О себе они уже не думали. Лишь бы маленького Толю молоком напоить.

— Пусть Погорелова попросит! — сказала Лопатина, доставая деньги, которые дал ей на дорогу муж.

— Хозяйка, а хозяйка! — нерешительно позвала Погорелова.

На ее зов из-за хаты вышел высокий, огненно-рыжий человек с лицом еще мокрым от умывания.

Уже одна его серозеленая шапка с двумя рожками над кудым околышем насторожила женщин. Сбитая на затылок, она была украшена каким-то блестящим новеньким значком. Это был „тризуб“ — знак украинских националистов.

Если бы среди женщин был кто-нибудь из галичанок, то они сразу бы по этой шапке „мазепинке“, какую носили украинские сичовые стрельцы, служившие австрийцам в первую мировую войну, определили бы, что за человек подошел к ним. Но все три женщины еще мало жили в Западной Украине, не знали ни местных обычаев, ни близко истории этого края и поэтому спокойно ожидали этого долговязого в рогатой шапке.

Он медленно, в развалочку прошел по двору в своих ржавых задубелых сапогах, оперся руками о перекладину забора и, дыша прямо в лицо Погореловой, спросил:

— Вам чего?

— Хлопчик больной. Молока продайте! — сказала Погорелова, кивая на спящего Толю.

— А вы откуда? — глухо спросил рыжий в „мазепинке“.

Позже они узнали, что его зовут Иван Кней (уроженец Бабятина, он был прислан на пополнение созданной немцами „украинской полиции“).

— Мы... из Сокаля! — некстати вмешалась Гласова.

— Из Сокаля? А почему грязные такие? Не врите, сознавайтесь откуда?

Проклиная себя за остановку у плетня, женщины молчали.

— Пойдем, что ли! — упрямо встряхивая волосами, сказала Гласова. — Раз им жалко кружку молока продать, не будем упрашивать! — и она шагнула в сторону дороги.

— Стой! — во всю глотку закричал Кней. — Я тебе „па-а-айдьом“, кацапка проклятая! Откуда, говорите, ну? С заставы верно? — и он ухмыльнулся, довольный догадкой.

— С заставы! Ну и что ж такого? — вскинув голову, сказала Гласова, чувствуя, что все уже потеряно, что этот рыжий от них не отвяжется.

— Степан! Степан! — закричал Кней, оборачиваясь к хате.

— Чего тебе? — крикнул, выбегая оттуда, Степан Ющак.

Это был совсем еще подросток, в такой же, как у Кнея, шапке „мазепинке“. Он удивленно разглядывал сонными глазами женщин и детей, стоявших на улице.

— Смотри, каких гусей поймал? — сказал довольный Кней. — С той заставы все! Я их до фельджандармерии доведу или самому Макару сдам. Беги-ка до Цейка, нехай подводу дает.

\* \*  
\*

Они едут по проселочной дороге, навстречу мчащимся с бешеной скоростью на восток немецким мотоциклистам, танкам, танкеткам, грузовикам. Ющак, по кличке „Лев“, погоняет двух буланных коней, забранных им у кого-то из селян Стенятина по приказу „коменданта“ украинской полиции Кирилла Цейка.

Иван Кней сидит напротив женщин на борту подводы с автоматом в руках. Тупой носок задубелого сапога полицейского упирается прямо в бок Лопатиной, но она не двигается, сидя на голой доске, и лишь качает на руках Толю. Как отощал, высох за эти дни он, ее мальчуган! „Пусть убьют меня, лишь бы хоть его в живых оставили!“ — думает она, с любовью глядя на исхудалое личико сына.

— То ваши мужья побили наших хлопцев, что к немцам прорывались прошлой осенью около Ромуша? — спросил Кней.

Ему никто не ответил.

— Онемели сразу? — крикнул полицай.

Опять молчание. Оно разозлило Кнея. Он вскинул автомат и закричал:

— Отвечайте, ну? А то пристрелю!

Пока Ющак бегал за подводой, женщины договори-



лись на вопросы не отвечать. Сейчас Гласова не выдержала. Она знала, что на дороге полицаи их не расстреляют. Он хотел доставить их живыми начальству и получить награду за свое усердие.

— Наши мужья свое государство защищали, — сказала она дерзко, — и попрекать ими нас нечего. А вот кому ты служишь, скажи?

— Я Украине служу! — протянул запальчиво полицейский, видно не ожидавший такого вопроса.

— Украине? — Гласова засмеялась. — Ты думаешь, эти, в касках, Украину тебе дадут, скажут: бери, пользуйся!

— Не дадут, возьму! — также запальчиво крикнул Кней.

— Что возьмешь? — спросила Гласова.

— Украину!

— А я думала, чемодан на вокзале! — удивляясь собственной дерзости, сказала Гласова.

Натягивая вожжи, Ющак обернулся и крикнул:

— Та ударь ее автоматом, Иван! Смотри, как разболталась, холера!

Видимо, пристыженный словами своего младшего коллеги, Иван Кней схватился обеими ручищами за дуло автомата и размахнулся. Кони дернули. Гласова закрыла голову руками.

— Ой, мама, мамочка! Не смейте ее бить! — крикнула Люба.

Удар приклада пришелся Гласовой по плечу. Спinoй она больно ударилась о перекладинку и упала на дно подводы.

На дороге показалась колонна легких танков. Кней, оставив в покое Гласову, стал безустали салютовать офицерам, проезжавшим в машинах вдоль колонны. Лишь когда последний серозеленый танк исчез в туче пыли, засыпающей и подводу, Кней чихнул и, выругавшись, сказал:

— Ты поговори еще у меня, кацапское отродье!

В Сокале их повели к одноному Владимиру Макару. Кулацкий сынок из деревни Паторица, террорист, воспитанный ОУН — организацией украинских националистов, он вместе с Нестором-Всеволодом Рипецким в те дни создавал на Сокальщине карательные группы в помощь немцам.

В то время, как его задушевный друг, никем не признанный поэт, а ныне гауптшрифтлейтер Нестор-Всеволод Рипецкий открывал на главной площади С каля редакцию газетки „Українські Вісті“, Владимир Макар выпрашивал у немецких властей для украинской полиции дворец графа Дзедушицкого в своем селе Паторица. Пока же, временно, полиция обосновалась в здании райпотребсоюза.

Зайдя в кабинет к Макару, Кней сразу же стал шептать ему что-то на ухо, и чем больше шептал Кней, тем злее становилось лицо украинского националиста.

Макар вскочил со своего места и закричал:

— На Украину приехали, свиньи московские! Кто тебя звал сюда, ну? — и он стукнул костылем об пол.

— Никуда я не приезжала. Это моя земля! — ответила ему Погорелова по-украински.

— Ты украинка? — опешил Макар. — Откуда?

— Из Градижеска.

— А сюда как попала?

— Муж мой тут служил, — сказала Погорелова.

— А ты откуда? Тебе что тут нужно было? — размахивая костылем над головой Лопатиной, закричал Макар.

— Бей, если совести нет, бей! — спокойно сказала Лопатина, прижимая к груди Толю и держа за руку Славика. — Ну, убивай, только уж всех сразу убивай! — вдруг истерично закричала она.

Все пережитое прорвалось в этом крике: и страшные дни в полутемном погребе под обстрелом, и разлука с мужем, и смерть друзей...

В эту минуту на столе зазвонил телефон. Макар заковылял к столу и, осторожно сняв трубку, приложил ее к уху, как величайшую драгоценность. Он совсем преобразился, отвечая по-немецки: „яволь!“. Несколько раз повторив это слово и добавив „данке шейн, данке шейн!“, он положил трубку на место и предупредительно поклонился телефону.

Быстро проводя рукой по своим блестящим черным волосам, Макар низко нахлобучил форменную фуражку и застегнул мундир. Лишь после этого его отсутствующий взгляд снова остановился на группе измученных



женщин и детей, стоящих под охраной двух полицейских.

— Меня сам ландкомиссар требует! — сказал он с гордостью своим подчиненным. — Я пошел. А этих большевичек ты, Кней, отведи в бурсу. Пусть разберутся с ними.

\* \*  
\*

До бурсы оставалось каких-нибудь два квартала, как вдруг на тротуаре перед женщинами появился рослый немецкий офицер в больших очках с тонкой оправой. За ним шел солдат с винтовкой.

Первыми быстро посторонились, давая дорогу офицеру, украинские полицейские. За ними сошли на обочину женщины и дети. Возможно, офицер так бы и прошел мимо них с высоко поднятой головой, безразличный ко всему окружающему, если бы взгляд его случайно не задержался на свитере Лопатиной.

— Откуда? — тыча пальцем ей в грудь, спросил он.

Денщик офицера, появляясь из-за его спины, перевел вопрос по-русски.

— Из Ивановской области, Мальчихинского сельсовета.

Когда денщик перевел ответ офицеру, тот уничтожающе посмотрел на него и что-то быстро проговорил.

— Господин майор... изволит спрашивать, откуда ты достала эту вещь — немецкую униформу? — перевел денщик.

— Я... нашла... там... — путаясь и теряясь, пробормотала Лопатина.

Поняв о чем идет речь, Иван Кней все время порывался вмешаться, но робел. Немцы вели себя так, будто полицейские для них не существовали. Майор, не дожидаясь пока денщик переведет слова Анфисы Лопатиной, стянул с руки перчатку, сунул ее в карман мундира и, тыча Лопатину пальцем с массивным золотым перстнем, жестко сказал:

— Мус гехект верден!<sup>1</sup>

Солдат поправил винтовку и дал знак Лопатиной следовать за ним.

Анфиса с детьми пошла впереди солдата, а все осталь-

<sup>1</sup> Повесить ее.

ные, тогда еще не знавшие, что обозначают эти страшные слова, направились к бурсе.

В подвалы бурсы уже было брошено много советских работников, учителей, сельских кооператоров, врачей, приехавших с Востока. Здесь были организаторы первых колхозов на Сокальщине, бедняки-крестьяне, которые после раздела помещичьей земли решили и над Бугом хозяйствовать коллективно.

Всех этих людей, душой и сердцем служивших советской власти, сторожили у входа в подвал два украинских фашиста-охранника с желто-голубыми перевязями на руках.

Когда грязных, измученных женщин с детьми втокнули в подвал и кто-то узнал Евдокию Гласову, легкий шопот пополз между арестованными. Говорить громко не разрешалось. Охранники все время заглядывали в подвал. Все же арестованные успели передать женщинам тринадцатой заставы — кто черствую булку, кто бутылку молока, кто несколько яиц.

— Тут все из тринадцатой? — приблизившись к Гласовой, тихонько спросила одна из арестованных. Лицо ее показалось знакомым Гласовой. Это была сокальская библиотекаря.

— Бабушка наша где-то отстала да Анфису Лопатину немец поволок неизвестно куда, — здороваясь, тихо сказала Гласова.

— А не ваша ли то бабушка сидит вон там, в углу? — спросила библиотекаря.

На ящике с песком Гласова увидела знакомый, черный салоп бабушки Александры.

Еще не доходя до большака, бабушка начала отставать от группы Клещенко. Ноги слабо слушались ее, и она сказала старшине:

— Вы уж, сыночки, идите дальше сами, а я себе тихонько пошкандыбаю в Сокаль. Свет не без добрых людей. Меня не тронут. Кому я нужна такая? А вам, молодым, только обузой буду!

Однако оказалось, что и такую — восьмидесятилетнюю старушку — фашисты задержали в Ильковичах и отправили в Сокальскую бурсу.

Вечером полицейские втокнули в подвал избитую Анфису Лопатину. Она была в одной рубашке и юбке.



Трижды в этот день ее ставили к стенке в подвалах Сокальского отделения гестапо. Допрашивал Лопатину комиссар эсесовцев Блок, помогали его помощники: уроженец Силезии гауптшарфюрер СС Эрвин Гайдук — выкормыш „гитлерюгенда“, сотрудники „отделения по борьбе с коммунистами“ Шпет, Гибнер и Вилли Римап.

Вся эта банда чинов немецкой полиции набросилась на Лопатину, требуя ответа: откуда у нее свитер военного образца?

— На шоссе я встретила немецкого солдата, который, сжалившись надо мной и ребенком, подарил мне вещь из своего зимнего обмундирования.

— Где он, этот добродетельный солдатик? — кричал Блок.

— Уехал на мотоцикле по направлению к Поречку.

— Где твои документы?

— Сгорели в доме, разбитом вашими снарядами вместе со всеми вещами.

— Где твой муж?

— Там, где полагается быть солдату в военное время, — на фронте.

... Как ни избивал Анфису Эрвин Гайдук, как ни было ей страшно видеть перед собою дуло пистолета, — она твердила свое.

К счастью для Лопатиной, денщик немецкого офицера, задержавшего ее на улице, пожилой солдат с лицом, изъеденным оспой, не передал в гестапо категорические слова своего шефа: „повесить ее“.

Сдавая Лопатину с сыном дежурному Вилли Римапу, денщик ограничился словами: „задержал подозрительную!“

Находясь под арестом, женщины тринадцатой заставы все больше разбирались в роли украинских националистов.

Каждое утро арестованных водили регистрироваться в „команду украинской полиции“. И как только кто-нибудь из женщин, подходя к загородке, называл свою фамилию, дежурный охранник со значком „тризуба“ осыпал пришедших самой унижительной бранью. Все

было в этих выкриках прислужников фашизма: и тупая ограниченность, и звериная злоба, и желание подражать своим хозяевам, и стремление на каждом шагу выслужиться перед ними, отработать сполна и немецкую форму, и казенный кошт или, как его здесь называли, „викт“.

Позволяя украинским националистам, переодетым в немецкую форму, безнаказанно убивать, грабить, измываться над мирным населением, немцы считали, что украинские националисты останутся верными Германии до конца, как бывает верен атаману шайки любой разбойник, получивший долю добычи при дележе награбленного.

Но даже и среди немецких прислужников, которые несли службу в „украинской полиции“, находились одиночки, которые подумывали о том, что же может случиться с ними, если Германия проиграет войну? На всякий случай такие полицейан подготавливали себе лазейки, которыми думали ускользнуть от возмездия народа.

Был среди охранников усатый десятник из Бараньих Перетоков. Отмечая по утрам приводимых из бурсы женщин, он не ругал и не бил их, как остальные. Однажды, когда конвоиры вышли на улицу покурить, десятник встал и, оглядываясь на дверь, прошептал:

— Хорошо запомните мое лицо! Я сделаю так, что вас отпустят до Скоморохов. Поняли? А вот когда ваши вернутся, вы тоже поможете мне? Ладно? — и, завидя возвращающихся конвоиров, он поспешно и грузно спустился на табуретку.

В один из ближайших дней, когда женщин и детей снова вели отмечаться к дому райпотребсоюза, они увидели около высокого серого костела немецкий грузовик. В кузове его сидели на корточках люди.

Женщины подошли ближе, и Гласова первая поняла, что в машине арестованные. Их головы были вровень с бортами — взлохмаченные, давно нечесанные волосы местами чернели от запекшейся крови. Руки арестованных были скручены проволокой, веревками. В углах машины стояли четыре немца все в черном, с белыми черепами на касках, с автоматами в руках.

До грузовика оставалось еще несколько шагов, как вдруг Гласова признала в одном из арестованных секретаря Сокальского районного комитета партии Муляв-



ко. Сквозь его изорванную рубашку просвечивало багровое от кровоподтеков тело.

Как изменился этот веселый, жизнерадостный человек! Спокойные, добрые черты его почти всегда смеющегося лица сейчас заострились, под глазами чернели глубокие круги. Виски его были совсем седыми. Гласова часто приходила к Мулявко советоваться, как ей лучше проводить работу среди женщин в Скоморохах. Помнится, Мулявко очень обрадовался, узнав, что Гласова учительница...

— Это очень хорошо, что вы педагог, — сказал тогда Мулявко. — Вам легче будет сблизиться с местным населением. Дружите с местными людьми. Помогайте им преодолеть ту темноту и косность, которую веками здесь насаждали враги Украины. Расскажите крестьянам Скоморох, что такое советский строй. Пусть эти люди, которые веками отстаивали свою принадлежность к русским, как можно скорее станут советскими патриотами, строителями Советской Украины...

— Ваши мужья охраняют границу, — продолжал Мулявко, шагая широкими уверенными шагами по своему кабинету. — Времени у них мало. Идите сами в села. Вы советские женщины. Тем более вы уроженка Ивановской области. Ивановцы сыграли большую роль в революции. У нас ведь большой опыт советской жизни, а местному населению еще многое трудно понять. Они нас больше двадцати лет ждали. Кому, как не нам, помочь им стать подлинными советскими гражданами?..

... Многие из этих слов вспомнила Гласова, подходя к грузовику, охраняемому немцами. Она думала, что Мулявко не узнает ее. Но секретарь райкома остановил на пограничниках свой пристальный взгляд и громко сказал:

— Гордитесь своими мужьями!

Откуда он знал о том, как вели себя пограничники тринадцатой заставы?

Возможно, что среди избитых и связанных людей в защитных гимнастерках, сидевших рядом с ним в машине, были и пограничники Сокальской комендатуры, уже знавшие о сопротивлении заставы в Скоморохах?

Но об этом Мулявко сказать не успел. Он унес с собой в могилу, в числе других, и эту тайну...

В полиции дежурил у картотеки знакомый усатый десятник. Как только конвоиры ввели женщин в помещение, десятник вскочил и, притворно свирепея, крикнул:

— Хватит вам байдыки бить! Марш в Скоморохи! Туда, где жили раньше. Будете работать. Карточки ваши отправлю туда. Ежедневно отмечаться, как здесь. Посмейте уклониться, — пуля! Помните меня... Помните мои слова...

Первым встретил в Скоморохах женщин из заставы бывший счетовод колхоза Петр Баштык.

Этот широкоплечий, добродушный человек в старом картузе мастерового, увидя женщин около ворот, пригласил их зайти к себе, словно вокруг не было немцев.

От Петра Баштыка женщины узнали, что красный флаг над заставой висел до 2 июля 1941 года. Лишь в этот день немецкие саперы, с помощью подкопа, подвели к заставе большую мину, и грохот взрыва потряс остатки дома, подымая вверх целые куски его фундамента и огромный столб кирпичного крошева.

Потом все затихло, и ни одного выстрела в районе фольварка жители больше не слышали.

Немцы строго-настрого запретили мирному населению приближаться к заставе.

— Да вы не печальтесь, — говорил плачущей Лопатиной Петр Баштык, — ваш муж был умный командир. Кто знает, быть может, напоследок он перехитрил немцев и, пока они подводили мину, вывел своих людей в лес, и немцы пустой подвал взорвали?

Он говорил так, успокаивая жену начальника, но чувствовалось, что Баштык и сам слабо верит в то, что пограничники, оборонявшиеся до 2 июля, могли выйти из-под развалин фольварка.

Ульяна, жена Баштыка, согрела женщинам воду на летней печке в саду, и они хорошо помылись за кустами сирени. Потом все сели в хате за дубовый стол. Дети — Славик, Люба и Светлана — выглядели очень измученными и похудевшими.

Ульяна поставила на стол несколько тарелок с очищенными крутыми яйцами и молодым луком, горнятку



сливочного масла, бледнорозовую редиску с мохнатой ботвой, лепешку домашнего сыра с тмином и ржаной хлеб.

Петр Баштык полез с таинственным видом в шкафчик и достал оттуда запыленную бутылку самогонки. По здешнему обычаю он налил себе первому полную рюмку, а потом остальным, и, обращаясь к Гласовой, сказал:

— Жили мы в соседстве славно — не ссорились, а теперь тяжелое время доводится нам переживать разом. Ну, ничего, дождемся лучших дней! Не знаю, пани Дуся, как все люди села будут к вам относиться, но, я думаю, что большинство посочувствует. Ну, будем здоровы!

Слезы застилали глаза Евдокии Гласовой, когда, подымая рюмку, смотрела она на Баштыка. Ведь принимая их, „большевичек“, Баштык мог навлечь на себя преследование. Она долго подыскивала слова для ответа хозяину, но так и не нашла слов, которыми можно было бы выразить свои чувства.

— Спасибо вам, Петро и Ульяна! — сказала она просто. — Мы верили, что вы всегда останетесь людьми, и поэтому зашли к вам!

И, глядя на хозяев, Гласова вспомнила слова Мулявко: „Любите местных людей! Они нас ждали!“

Да, особенно в эти трудные дни сама жизнь подтвердила слова секретаря районного комитета партии.

Не только Баштыки, но и старый Никита Пеньковский, Грицько Саганский и Федора Саганская, колхозники Баран, Антосюк и другие жители древнего села Скоморохи хорошо, по-дружески относились к семьям пограничников и чем могли помогали им в беде. Они скрывали женщин с детьми у себя на квартирах, спасали их от облав, когда немцы хватали людей для вывоза в Германию. Помощь и отзывчивость бывших колхозников села Скоморохи к женам пограничников помогли им пережить мучительные годы немецкой оккупации.

\* \* \*

А в Скоморохах под немецким сапогом было действительно тяжело. Особенно отравляли жизнь немецкие холоуи — украинские националисты. Чего только ни приходилось терпеть от них!

В бывшей комнате сельсовета села Скоморох, куда жены пограничников должны были явиться по прибытии на регистрацию, сидел, развалившись в мягком кресле, старший полицай Иосиф Гукайло. Он был удивлен появлением женщин из заставы в его канцелярии. Первое время он не знал даже, как начать разговор с ними.

Потом, — вспоминают женщины, — он встал, почесался, подтянул брюки и, схватив со стола кнут, закричал: — А знаете вы, кто я? Хочу — будете жить, хочу — расстреляю! Я его наместник здесь, в селе! — и он „пужалом“ кнута показал на портрет Гитлера.

\* \*  
\*

По воскресным дням Гласова с Лопатиной, забирая детей, уходили к Бугу. Позарастали там пограничные тропы. Красно-зеленые пограничные знаки валялись, вырванные вместе с каменными основаниями.

Ржавчина близкой осени покрывала листву лапчатых каштанов и молодых кленов. Первые багровые листочки виднелись и на молодых ивах-брединах, наклонивших к Бугу свои гибкие ветви.

Внешне Западный Буг был таким же, как и прежде: то радужно-серебристым при утреннем солнце, то желтоватым и прозрачным, когда солнце стояло в зените. Как и встарь, в часы заката Буг становился свинцово-серым и мрачным. Казалось, сверху на течение реки опускалась сиренево-сизая поволока, и тогда уже совершенно невозможно было разглядеть, что творится там, на дне.

По этой спокойной и прекрасной реке все чаще и чаще проплывали человеческие трупы.

Думалось: откуда бы им взяться теперь? Война прошумела, прогрохотала в этих местах, лавиной перекаталась через Западную Украину и передвинулась далеко на восток. Немцы кричали, что видят в полевые бинокли Москву и Ленинград. Фашистский подпевала Юрий Мовчан ликовал в газетке „Львівські Вісті“ по поводу того, что немецкие бомбы разрушают город Харьков.

Каким был для Украины гитлеровский „новый порядок“, можно было убедиться, простояв несколько часов на берегу Западного Буга.



Мимо села Скоморохи вниз, к Усцилугу, на Волян, проплывали детские трупы с распоротыми животами, изувеченные тела мужчин в защитных гимнастерках и вышитых гуцульских сорочках. Бужская вода влекла вниз, к Волини, изнасилованных и замученных гитлеровцами украинских девушек. Проплывали вниз по течению и седые старики с распущенными библейскими бородами.

\* \* \*

— Ах, боже мой! Кто мог породить таких убийц? — закричала однажды Маруся Карпяк и убежала с обрыва над Бугом к себе в хату.

Долго ей потом снилось то, что она увидела на Буге. По реке проплыла молодая красивая женщина с отрезанной грудью. Все село видело эту женщину. Она плыла с широко открытыми глазами, устремленными в далекое, навсегда потерянное для нее небо. К животу убитой женщины был привязан соломенным перевеслом ребенок. Ему было не больше года.

Древняя славянская река, поддерживая на своих волнах жертвы гитлеровцев, как бы говорила оставшимся в живых:

— Смотрите и запоминайте: **это сделал фашизм!** Смотрите пристально, внимательно! Не пугайтесь и не отводите глаз. Расскажите внукам и правнукам о виденном. Это следы фашизма, вторгшегося на украинскую землю!

... Никто не знал, где именно были убиты сто пятьдесят комсомольцев Сокаля. Одно время даже поговаривали, что их отвезли на работы в Германию. Но Буг раскрыл и страшную тайну исчезновения комсомольцев, показывая их изувеченные трупы жителям района.

Поголовный траур был в Тартакове. Самые красивые девушки села, насильно схваченные на потеху гитлеровским офицерам, впоследствии были убиты. За один лишь день в Тартакове погибло 382 коренных жителя. Убитые фашистами и украинскими националистами, они валялись на площади, в придорожных кюветах, на выгоне... Тела, раздавленные немецкими танками, еще долго не убирались, и густой дым обволакивал их — в Тартакове горело одновременно более полутора ста домов.

Холодной осенней ночью, в это страшное время установления „нового порядка“ на землях Сокальщины, Евдокия Гласова отважилась пробраться к развалинам тринадцатой заставы. Вместе с ней туда отправились Петр Баштык и Погорелова. Первым через окошко спрыгнул в подвал заставы Петр Баштык. Он помог спуститься туда и женщинам.

Полуистлевшие матрацы были завалены обломками кирпича, бочки, на которых некогда сидели пограничники, — то перевернуты, то разбиты. Чиркая перед собой спичками, Петр Баштык помог Гласовой пролезть в узенькую дыру в стене, в тот самый отсек, где она оставила тело своего мужа.

В полной темноте Гласова ломает одну за другой несколько спичек. Наконец, ей удается зажечь огарок церковной свечи. Пламя, растопляя воск на фитиле, увеличивается все больше. При дрожащем, зыбком огоньке Гласова находит высохшее тело мужа. Все еще забинтована простыней его голова. Почти вся одежда истлела.

Гласова осторожно приподнимает легкое, почти невесомое тело мужа. Она обыскивает останки его одежды и находит в одном из карманов плотный кожаный бумажник. В нем — партийный билет и алое, покрытое темными пятнами крови воинское удостоверение младшего лейтенанта пограничных войск НКВД Павла Гласова и кандидатская карточка ленинградца Галченкова. Все эти документы Евдокия Гласова сбережет в потаенном месте. И как только в июле 1944 года авангардные части Советской Армии ворвутся в Сокаль, отбрасывая гитлеровцев дальше, за Буг, Гласова пойдет разыскивать среди работников, прибывших вместе с передовыми частями Первого Украинского фронта, нового секретаря Сокальского районного комитета партии. Она вручит ему, представителю партии, воспитавшей защитников тринадцатой заставы, два партийных документа героически погибших коммунистов.

Но все это случится позже, спустя три долгих года, когда сможет она свободно ходить по улицам Сокаля, не страшась немецких фашистов и их прислужников.

Той же страшной осенней ночью 1941 года Евдокии Гласовой с помощью Петра Баштыка удалось вытащить



прах мужа из-под развалин заставы и похоронить его на старинном сельском кладбище.

... После того, как стаял снег с полей, 25 апреля 1942 года, жены пограничников пришли сюда снова.

Семь могил разрыли Погорелова и Лопатина в поисках своих близких. Погорелова ходила, к тому же, еще к мосту возле хутора Ромуш. Но найти труп мужа ей не удалось.

В ложине около заставы, где некогда Алексей Лопатин переговаривался с крестьянками из Скоморох, приползшими с хлебом для пограничников, женщины заставы нашли большую братскую могилу. Сверху в ней, чуть-чуть присыпанный землей, лежал слесарь Ковровского экскаваторного завода, уроженец деревни Аристиха, Савинского района, Ивановской области, лейтенант Алексей Лопатин, с честью выполнивший свой долг перед Родиной. Под мертвым лейтенантом лежало еще много трупов, положенных крест на крест. Так обычно фашисты хоронили свои расстрелянные жертвы.

Женщины перенесли прах лейтенанта Алексея Васильевича Лопатина на старинное сельское кладбище и похоронили его под кустом сирени, рядом с политруком Павлом Гласовым. Обе могилы, как и повсюду на Украине, сейчас покрывает густой пеленой стелящийся низко по земле барвинок. У него блестящие, темнозеленые листочки. Весною в густой зелени барвинка появляются кое-где благородные, спокойные голубые цветочки. Они похожи на цвет чистого, безоблачного неба, что голубеет вверху, над Западным Бугом. Стебли барвинка, посаженного здесь девушками из Скоморох, и женщинами тринадцатой заставы, переползают на соседнюю, третью, более позднюю могилу, как бы соединяя воинскую славу лежащих здесь советских воинов. Это третья воинская могила появилась здесь летом 1944 года. На столбике ее простая надпись:

*Кавалер трех орденов Отечественной войны, старший лейтенант ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ЦВЕТКОВ, 1923 года рождения. Героически погиб в боях с немецкими захватчиками при освобождении украинской земли и села Скоморох над Западным Бугом.*

Кавалер трех орденов из Ленинграда, из того города, где занималась заря свободы для всего человечества, Леонид Цветков погиб, наводя переправу через Буг 26 июля 1944 года, в те дни, когда Советская Армия освобождала от немцев последние клочки украинской земли. Старший лейтенант Цветков упал на землю у Буга как раз в том самом месте, где в первое утро войны лейтенант Григорий Погорелов отбивал немцев, рвавшихся по мосту на советскую сторону.

Так один клочок прибужской земли сомкнул начало и заключительный этап одной из самых страшнейших войн, какие знало человечество, славя в веках величие и мужество советского человека.

## 10. ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

*(Вместо послесловия)*

Под развалинами многих пограничных застав над Бугом погребены и сожжены не только тела, но и все документы советских людей, принявших первыми удар фашистских полчищ 22 июня 1941 года. Вот почему даже имени пограничника Косарева я не могу здесь назвать и затрудняюсь ответить Михаилу Пескову в город Иваново, что случилось дальше с его братом — храбрым пулеметчиком Песковым. Я не знаю также имен Галченкова и Герасимова, которые первыми открыли огонь по врагу из левого блока заставы в Скоморохах.

Когда я называю здесь Галченкова, я вижу только город, его воспитавший, город-герой — Ленинград. Я не знаю: за Невской ли заставой, на Каменном ли острове или, может быть, в Мурзинке, вырос заместитель ивановца Гласова, отличный пулеметчик и храбрый сын русского народа — Галченков. А возможно — это был рабочий паренек Выборгской стороны и, может быть, еще и по сей день где-нибудь на Флюговом ждет его появления родная семья, ничего не знающая о том, как воевал Галченков в первую неделю войны и что с ним дальше случилось?

Ничего этого я не знаю, а выдумывать биографию жившего на самом деле человека, которого я называю здесь подлинной фамилией, — не хочу, чтобы выдумкой



не оскорбить память героев, встретивших фашистов на самых передовых рубежах Великой Отечественной войны.

С первого артиллерийского залпа они, советские люди, поняли своим горячим сердцем огромную опасность, нависшую над Родиной, и вели себя так, как впоследствии панфиловцы под Москвой, как защитники Севастополя, Одессы, Сталинграда...

\* \*  
\*

Поля уже щетинятся колючей, низко подстриженной соломой. Наша машина мчится по тому самому большаку, по которому некогда вез арестованных женщин тринадцатой заставы из Стенятина в Сокаль украинский националист Иван Кней.

— Вот здесь он ударил меня прикладом! — вспоминает сидящая рядом со мной в машине народный заседатель суда в Сокале Евдокия Гласова. Около нее — русая, с туго заплетенными косичками Люба, школьница одной из семилеток Сокаля. Напротив — Евдокия Погорелова.

Вскоре машина минует широкое убранный поле с высокой копной обмолоченной соломой. Рядом, на открытом полевом току, попыхивает черный локомотив, соединенный ремнем с запыленной молотилкой. Возле молотилки в тучах пыли, быстро уносимой ветром, суетятся сельские девчата с лицами, прикрытыми от солнца белыми хустками.

Даже, если бы никто не предупредил нас, что здесь происходит, то одна эта привычная для глаз советских людей картина подсказала бы — возрожденный после войны колхоз имени Сталина в Скоморохах собирает свой артельный урожай.

И когда-нибудь историк Сокальщины, рассказывая об этой осени 1947 года, вспомнит, что не только в Скоморохах, но и во всех пограничных селах в этот год возродились уничтоженные немцами колхозы. Если же историк будет интересоваться судьбами людей, которые поднимали колхозы вновь к жизни, он расскажет и о славной семье первых колхозников Скоморох Баштыков. Он расскажет также, как все взрослые члены этой семьи, некогда спасшие женщин тринадцатой за-

ставы, после сбора урожая вступили в Коммунистическую партию большевиков Украины...

Евдокия Погорелова, следя с машины за молотьюбой на колхозном току, сокрушенно говорит:

— Одна у них молотилка только. А сколько разных машин здесь было до войны! Какой сильный колхоз это был!

— Ничего, Дуся! Лиха беда — начало! — откликается Гласова. — Урожай соберут — богаче станут. Война-то какая прошла. Всего сразу не напасешься.

Она говорит это уверенно и твердо, а сама смотрит налево, туда, где ближе к границе краснеет на холме груды кирпичных развалин, — все, что осталось от тринадцатой заставы.

Я понимаю желание Гласовой побывать во дворе родной заставы и, хотя заезжал туда не раз, показываю шоферу направление. Машина круто поворачивает к фольварку, огибает вишенку с последними, склеванными ягодами и, шурша по крышкам, останавливается около развалин.

Еще больше заросли за лето бурьяном и крапивой окопы. Груда стен белеет среди зелени на том самом месте, где некогда высился командирский домик, в котором родился Толя Лопатин. Сейчас он растет далеко от Буга, в городе Коврове, где работает на экскаваторном заводе Анфиса Лопатина.

Давно провалились земляные накаты в блокгаузах, расположенных по углам двора. Ручейки дождевой воды сгладили ровные некогда очертания брустверов. Крыльцо, с которого глядел вслед уходящим женщинам, постепенно исчезающим в тумане, лейтенант Алексей Лопатин, завалено обломками стен. Взрыв мины разметал их и свалил последний наблюдательный пункт пограничников — задымленную трубу. Лишь гладкие, облицованные цементом перила крыльца указывают нам место прощания женщин заставы с ее последними защитниками.

Мы взбираемся на гору кирпича, все еще возвышающуюся над подвалом заставы, и я случайно нахожу в этом крошечке две патронных гильзы русского образца. В донце одной из них, расцветшей самоварчиком, еще цел капсюль. Она из остатков боевого запаса, который рвался после взрыва мины и пожара. Капсюль другой



гильзы, ржавой, наполовину забитой глиной, сильно расплюсчен бойком. Кажется, что в этом сильном ударе по капсюлю скрыта частица большой ярости бойцов к нарушителям границы, вероломно напавшим на советскую страну.

Кто стрелял этим патроном? Песков? Дариченко? Давыдов? Добродушный толстяк Косарев? Или, может быть, юноша из Ленинграда Галченков срезал пулей из этого патрона связного генерала фон-Клейста, порывавшегося безнаказанно заехать во двор советской пограничной заставы, как в свое собственное поместье...

\* \*  
\*

Из села один за другим сходятся крестьяне. Подошел дряхлый Иван Баштык — отец Трофима и Петра. Он в домотканном костюме, с крючковой палкой в руке.

Прибежала и сразу кинулась в объятия Гласовой загорелая, крепкосбитая Маруся Карпяк, подошла бабушка Ульяна с ведром, наполненным грушами. Примчались мальчики лет по десять-двенадцать и, поклонившись старшим, окружили сверстницу Любу Гласову.

— Добры дэнь, Дуся! — поздоровался с Гласовой колхозник Бецелюк, чьи овсы, как и встарь, спускаются к низине фольварка, мимо железобетонного ДОТ'а. — Своих проведать пришли? Давненько вас в селе видно не было!

Позже всех прибегает подружка Марии Карпяк, молодая колхозница Анна Баштык. Запыхавшись, она бросается в объятия Гласовой, здоровается с Погореловой и, малость стесняясь, кланяется шоферу и мне.

— Я полуднювать бежала! — тяжело дыша и поправляя сбитую косынку, говорит Анна Баштык, — вижу — машина. Дай, думаю, посмотрю, кто ж то приехал? А то обе Дуси до нас завиталы! Вот хорошо! А завтра у нас обжинки, первый праздник колхозный, со всех сел гости будут!

— Подросла ты как, Гандзя! — оглядывая девушку, говорит Погорелова. — Уж невеста! А помнишь, Дуся, какое то малое дитя было, когда мы к ним в хату зашли?

— Все беспокоилась, что Ульяна лапшу не доварила, все ворчала на нее, — вспоминает Гласова.

— А то думаете — доварила? А пэвно, что не доварила, — задиристо отвечает Анна Баштык, — голодные были и не заметили!

— Милая, да я слаще и вкуснее той лапши ничего не едала, — говорит Гласова, — с той поры лапша на молоке — самое любимое мое кушание!

— Есть о чем вспоминать тоже! — говорит Анна и оглядывается. Маруся Карпяк отзывает ее в сторону. Подружки шепчутся о чем-то потихоньку, потом Маруся, мелькая босыми, исколотыми стерней пятками, мчится стремглав в село.

\* \*  
\*

По накаленной августовским солнцем дороге все мы идем в село Скоморохи.

— Заглянем сперва до Карпяков. Они ждут вас! — просит Гласову Анна Баштык.

Мы проходим двором Карпяка и там, за стодолой, уже набитой снопами нового урожая, застаем в сборе все семейство Карпяков.

У летней печки, сбросив платок, хозяйничает раскрасневшаяся от кухонного жара Маруся. Навстречу нам подымается ее седой отец — Илько Карпяк. Поспешно вытирая руки о фартук, здоровается с Гласовой его жена. Кланяется гостям зять Карпяка — Трофим Иванович Баштык, механик колхоза имени Сталина в Скоморохах.

Анна Баштык срывает с ветвей ближайших деревьев сочные груши-скороспелки с оранжево-розовыми боками. Она срывает налитые соком бледножелтые яблоки „спасовки“. Потряси таким яблоком возле уха — будет слышно, как стучат внутри его маленькие коричневые зернышки.

— Жаль Анфиса Лопатина уехала, не дождавись пока все дозреет! — говорит старый Илько. — Разве плохо бы ей с нами жилось?

— На родину мужа поехала, — говорит ему Погорелова. — Она теперь на том самом заводе работает, где Алексей Васильевич слесарем был.

...Мужчины уходят в поле. Урожай не ждет.

Мы проходим в прохладную горницу Карпяков. Вместе с нами заходит в хату новый гость — лейтенант пограничных войск, начальник расположенной поблизости



заставы, которую все еще до сих пор, по старой памяти, называют „Лопатинской“.

Лейтенант только что проверял по берегу Буга службу пограничных нарядов, но, узнав от посыльного, что к нему на участок из Сокала приехали гости, немедленно прискакал сюда.

Через раскрытое окно слышно, как позвякивает уздечкой привязанная к сараю гнедая лошадь лейтенанта.

\* \*  
\*

Еще в Сокале я слышал не мало о лейтенанте, который заступил сейчас на боевой пост, некогда порученный Алексею Лопатину. Я знаю, что новый начальник „Лопатинской заставы“ — бывалый советский офицер. Он начинал Великую Отечественную войну рядовым, а закончил ее — лейтенантом. Советская Армия двинулась дальше, на запад, а он остался у Западного Буга охранять восстановленную границу. Вместе с другими пограничниками он очищал пограничную зону и прибужские леса от гитлеровцев и украинских националистов. Много прислужников „нового порядка“, в том числе и полицай Кней, нашли свою смерть от пуль пограничников. Другие перебрались на противоположный берег Западного Буга, стремясь прорваться в Бизонию, к своим новым хозяевам — американцам и англичанам.

Прежде чем пробраться туда, поближе к Мюнхену, под защиту американского звездного флага, убийцы украинских женщин и детей накапливались в лесах Польши, по другую сторону Западного Буга. Чтобы запастись продуктами на дальнюю дорогу, они стали грабить польское население так же, как раньше грабили украинцев. И вот в первые месяцы существования пограничной заставы, возникшей на том участке границы, который некогда охранял Алексей Лопатин, однажды ночью в Скоморохи из Забужья прибежал польский офицер.

— Прошу прощения, что я нарушил границу, — сказал запыхавшийся польский офицер, когда его привели к лейтенанту, — но мы сейчас друзья, и я надеюсь, что вы поможете нам...

Из дальнейших слов офицера выяснилось, что банда фашиста Прирвы, собранная из бывших украинских

полицаев и эсесовцев дивизии „Галичина“, поджигает дома поляков в Кристинополе. Бандиты, вытесненные с советской территории, загнали все мирное население старинного польского городка в древний католический монастырь. Каждую минуту они могли начать резню поляков, подобно тому, как уничтожали целые польские села на Волыни и возле Ровно.

Советский лейтенант немедленно связался по телефону с высшим командованием и получил приказ: помочь польским пограничникам разбить банду.

Приказ был выполнен.

И в том, что он, советский пограничник, офицер Армии-освободительницы, истребил вместе с войнами новой демократической Польши на сопредельной стороне фашистскую банду, численность которой втрое превышала силы пограничников, тоже были признаки того нового времени на Западном Буге, которое принесла сюда советская власть.

Население Кристинополя было спасено советскими пограничниками от поголовного уничтожения бандитами. В этом маленьком факте мы также видим черты новых, небывалых в прошлом отношений между соседними славянскими народами...

\* \*  
\*

Девушки усаживают лейтенанта на почетное место, возле Гласовой. Он сейчас за хозяина в этой хате. Мужчин нет, они в поле.

На правах хозяина начальник заставы принимает от Маруси Карпяк бутылку яблочной наливки домашнего изготовления. По здешнему обычаю он наливает себе первую чарку и, желая всем здоровья, выпивает ее одним махом.

Чарка обходит по кругу. Все меньше и меньше остается на тарелках пунцовых, крупно порезанных помидор с луком и с перцем, залитых уксусом, исчезает сало еще от „прошлогоднего кабанчика“. Наконец, старая Карпяк торжественно вносит со двора глубокую миску первого. Она ставит ее перед Гласовой и та, поглядев в миску, восклицает:

— Лапша! На молоке! Как тогда! — и, обернувшись к Марусе, говорит: — Так вот чего вы шептались там, в сторонке! Ох, и плутовки!



— Чула од дивчат, што то ваше любимое блюдо, — говорит Карпьяк. — Кушайте, прошу! То из новой муки лапша приготовлена.

— Дело не в лапше, а в том, что за люди ее готовили! — говорит Гласова.

— Как тогда! — повторяет вслух слова Гласовой Погорелова. — Неужели мы пережили уже это время? Неужели вечером не надо отмечаться нам с тобой, Дуся, у Гукайла?

Лейтенант-пограничник улыбается при этих словах. Он, офицер армии, отменившей все фашистские регистрации на землях, освобожденных ее воинами, уже одним своим внешним видом возвращает женщин тринадцатой заставы в нашу сегодняшнюю советскую действительность.

Его золоченые погоны с зелеными просветами, боевые ордена на его выцветшей гимнастерке как бы говорят: „Да, это нерушимая правда! Советская власть возвратилась навсегда на эту древнюю прибужскую землю и ее охраняют надежные воины!“

После обеда лейтенант говорит мне:

— Прошлое тринадцатой заставы вы уже знаете. А известно ли вам, как по боевой эстафете принимали от пограничников их воинскую доблесть регулярные войска Советской Армии здесь же над Бугом? Я могу показать вам на моем участке то, что вас, несомненно, должно заинтересовать.

... Машина мчится узенькими проселочными шляхами через поля к Равщине. Метелки созревающих овсов жестко бьют по крыльям машины. Вечерет, и солнце спускается к польскому селу Бояничи.

— Здесь остановимся! — говорит лейтенант и, как только шофер затормозил машину, первым, словно с коня, прыгивает на землю.

Мы проходим по двору на зады этого маленького хуторка, даже не обозначенного на многих картах, и шагаем межой к какой-то черной отвесной стене. Она выглядывает, слегка приподымаясь над полями, из огромной глиняной воронки. Уже совсем вблизи мы узнаем одну из долговременных огневых точек, выстроенных здесь перед самой войной.

Железобетонные, еще не замаскированные ее стены будто забрызганы смолой. По этим пятнам застывшего

термита угадываются прямые попадания термитных снарядов. Немцы думали накалить ими железобетон и высокой температурой выгнать на волю защитников ДОТ'а.

Какая судьба постигла воинов, оборонявшихся в этом незаконченном еще постройкой укреплении?

Словно угадывая мои мысли, лейтенант-пограничник говорит:

— Только мы пришли к Бугу осенью 1944 года, я стал выяснять у крестьян историю этого ДОТ'а. Его строили здесь не военно-инженерные войска, а крестьяне окрестных сел. Видите, им оставалось еще немного — засыпать его отовсюду землей да замаскировать под окружающую местность. На хуторе располагались регулярные войска или, как здесь их называли в отличие от пограничников, — „рококовцы“. Жили они по хатам, а как война началась, командир, по званию капитан, собрал их и давай бегом сюда. Захлопнули за собой вот эту дверь броневую и оборонялись здесь три недели. Вы подумайте только, — три недели! Чем питались они все это время — ума не приложу? Раз точка еще не была закончена, то и запасов продовольствия наверное не было? И вот, когда немецкие танки той дорогой на Тартаков пошли, команда ДОТ'а открыла по ним огонь. Несколько танков, — рассказывают крестьяне, — сразу подшибли. Машины горят, а немцы, кто уцелел — в жито скачут... Ночью немцы тягачами эти танки обратно в Забужье повезли. Ну, а потом, когда основные силы немцев прорвались туда, на Луцк, уже тише стреляли. Наверное снарядов у них было маловато. Рассказывают: немцы пограничников газом задушили. А потом пригнали из Сокаля несколько старых евреев, дали им брезентовые рукавицы и заставили их по доскам залезать внутрь ДОТ'а и через бойницу вытаскивать задушенных советских бойцов. Евреи вытащили всех бойцов вместе с капитаном и зарыли тут же в поле. А после того гитлеровцы перед ДОТ'ом расстреляли и евреев. Вот, давайте спустимся вниз, я покажу вам на стене следы пуль.

Мы рассматриваем, стоя на дне оврага, окружавшего ДОТ, чуть заметные следы выстрелов. Я вспоминаю, как месяцем раньше в одном из барачков для немецких военнопленных бывший старший лейтенант 11 танковой дивизии армии генерала фон-Клейста очкастый инженер Людвиг Дитц в беседе со мной несколько раз упоминал



со каком-то „бункере“ в полях за Сскалем, из которого советские воины в первое утро войны сбивали немецкие танки, мчавшиеся к Стоянову.

Один из немногих уцелевших гитлеровцев первого удара, пойманный в Сталинградском кольце, Людвиг Дитц рассказывал:

— По всей нашей армии пошел слух об этом „бункере“. К нему были подтянуты пехотные части, саперы, а его люди все равно не сдавались и продолжали поджигать германские танки, задерживая наше продвижение этой дорогой. Мы уже под Москвой были, в Истре, а офицеры все еще вспоминали этот первый „бункер“, который встретил нас убийственным огнем на советской земле.

— Поедемте дальше,— предлагает мне лейтенант, новый начальник пограничной заставы в Скоморохах.

Мы возвращаемся полями к машине и она увозит нас в лесную чащу. Песчаной дорогой, под высокими соснами, мы подъезжаем еще к одному ДОТ'у, построенному на лесной опушке, с бойницей, обращенной к границе.

— И здесь точно так же фашисты уничтожили защитников ДОТ'а газом!— рассказывает лейтенант.— Разница лишь в том, что этот гарнизон сопротивлялся до 28 июля 1941 года, больше месяца...

Мы пробираемся внутрь ДОТ'а и, освещая фонариками скрюченные от огня арматурные прутья, видим следы неравной борьбы. Повсюду валяются стреляные гильзы противотанковых снарядов, раздутые патроны, белеют под нарами полусожженные кости неизвестных воинов нашей Родины.

Затерянный в лесной глуши гарнизон этого ДОТ'а оказался отрезанным от основных сил Советской Армии в первые часы войны. У засевших здесь воинов была полная возможность бросить огневую точку, прорываться лесами на восток, к своим, наконец — выбросить белый флаг и капитулировать, как это им неоднократно предлагали немцы. Однако воины ДОТ'а, выстроенного на лесной опушке, в каких-нибудь трехстах метрах от границы, предпочли смерть с оружием в руках постыдной капитуляции. У смертельной черты, где каждую минуту могла оборваться их жизнь, они были попрежнему советскими людьми!

Что ни предпринимали гитлеровцы, но так им и не удалось обычными военными средствами заставить сдаться людей советского гарнизона, защищавших в тылу ушедшей на восток немецкой армии честь своей Родины.

Лишь глубокой ночью с 27 на 28 июля 1941 года фашисты подвели к серому, тоже еще не замаскированному ДОТ'у баллоны с отравляющими веществами и, надев маски, пустили газ.

То, чего не могли сделать фугасные и термитные снаряды, дымовые шашки и авиационные бомбы, сделал газ. Он не только задушил защитников маленькой крепости, но даже умертвил на полкилометра вокруг траву и кустарники. По этой увядшей, будто от первых заморозков, пожелтевшей траве, — рассказывали лесники пограничному лейтенанту, — фашисты подкрались к бойницам ДОТ'а и долго слушали, не шевелится ли еще кто там? Они боялись даже мертвых советских воинов! Прежде чем залезть в середину укрепления, немцы пустили туда через бойницу несколько огненных струй.

И кто знает: если бы не газ, возможно, еще и весь август мог бы сопротивляться гитлеровцам этот маленький гарнизон, близкий сосед тринадцатой заставы и других пограничных укреплений, которые стояли на линии первого удара немецких войск?

Из глубоких подвалов, наполненных особой, неповторимой тишиной, мы взобрались на жесткую макушку этого опорного железобетонного укрепления, созданного здесь на средства советского народа.

Вокруг нас шумели прибужские леса, и за свинцовой полоской реки уходили на запад желтеющие поля теперь уже не вражеской, а дружественной нам державы, освобожденной силой советского оружия от тех же варваров, что истребили и славный гарнизон этого укрепления.

И я подумал о том, что со временем здесь, на лесной опушке, будет воздвигнут памятник на века, так же, как и над развалинами тринадцатой „Лопатинской заставы“.

„Возникнут, — думал я, слушая шум ветра, гнущего верхушки молодых сосен и дубов, — строгие и величавые памятники по всей линии Западного Буга, там, где погибли с оружием в руках на самых первых рубежах Великой Отечественной войны советские воины в зеле-



ных фуражках. И, может, у этих памятников под раз-  
вернутыми боевыми знаменами бывалые офицеры будут  
ежегодно приводить к присяге молодых пограничников.

Когда же настанет то желанное время, о котором  
некогда рассказывали надписи советских пограничных  
арок, — „Коммунизм сметет все границы!“, — все равно,  
из окрестных украинских сел, от Судетских гор в на-  
родные праздники станут приезжать сюда люди. Они  
будут приносить к памятникам живые цветы и склонять  
головы перед прахом героев, отдавших свои жизни за  
светлое будущее освобожденного навсегда от войн, фа-  
шизма и угнетения свободного человечества!



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Накануне . . . . .	3
2. Памятный рассвет . . . . .	12
3. Большие надежды . . . . .	22
4. „Гости“ на мотоциклах . . . . .	30
5. Рушатся этажи . . . . .	37
6. Прилетят ли? . . . . .	45
7. Самая трудная ночь . . . . .	54
8. Клятва в тумане . . . . .	62
9. Свои и чужие . . . . .	68
10. Шесть лет спустя . . . . .	84

Редактор *Д. Г. Прокофьев.*

Художник *И. Т. Колочков.*

Подп. к печ. 11/II-1949 г. КЕ—00355. Печ. л. 6. Уч. изд. л. 473.  
В печ. л. 34400 тип. зн. Тираж 10 000 экз. Цена 2 руб. 40 коп.

Типография изд-ва Ивановского облсовета депутатов трудящихся,  
г. Иваново, Типографская, 4. Заказ № 8176.



### Замеченные опечатки

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
9	2 сверху	забаньер	забранные
75	13 снизу	изъеденный	изъеденным
76	16 "	конвоиров	конвоиров
86	8 "	последним	последними

В. Беляев. Застава над Бугом.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Накануне . . . . .	3
2. Памятный рассвет . . . . .	12
3. Большие надежды . . . . .	22
4. „Гости“ на мотоциклах . . . . .	30
5. Рушатся этажи . . . . .	37
6. Прилетят ли? . . . . .	45
7. Самая трудная ночь . . . . .	54
8. Клятва в тумане . . . . .	62
9. Свои и чужие . . . . .	68
10. Шесть лет спустя . . . . .	84

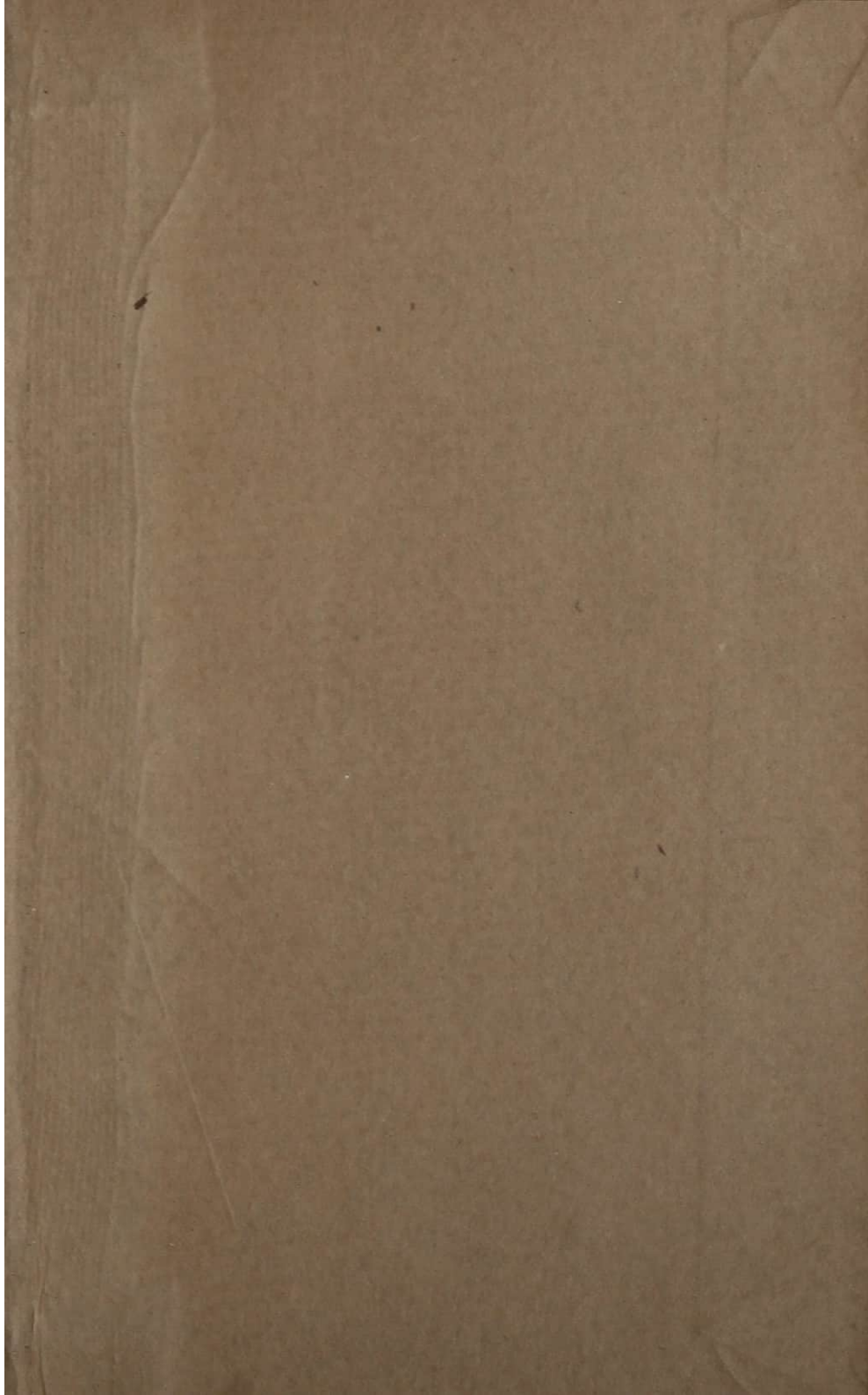
Редактор *Д. Г. Прокофьев.*

Художник *И. Т. Колочков.*

Подп. к печ. 11/II-1949 г. КЕ—00355. Печ. л. 6. Уч. изд. л. 4,73.  
В печ. л. 34400 тип. зн. Тираж 10 000 экз. Цена 2 руб. 40 коп.

Типография изд-ва Ивановского облсовета депутатов трудящихся,  
г. Иваново, Типографская, 4. Заказ № 8176.





2 руб. 40 коп.

Переплет и обработка

1 р. 50 коп.



